

Шервуд Андерсон Уайнсбург, Огайо

Посвящается памяти моей матери Эммы Смит Андерсон, чьи острые замечания о жизни впервые пробудили у меня стремление заглянуть за поверхность жизней.

КНИГА О НЕЛЕПЫХ ЛЮДЯХ

Перевод В. Голышева

Писателю, седоусому старику, было трудновато забираться в постель. Окна в его доме располагались высоко над полом, а он хотел смотреть на деревья, когда просыпался по утрам. Пришел плотник, чтобы поднять кровать вровень с подоконником.

Дело сопровождалось изрядной суматохой. Плотник, ветеран Гражданской войны, пришел к писателю в комнату и сел поговорить о сооружении помоста, на который он поставит кровать. В комнате у писателя лежали сигары, и плотник закурил.

Сперва они поговорили о том, как поднять кровать, потом стали говорить о другом. Плотник затронул тему войны. В сущности, его навел на это писатель. Плотник побывал в плену, сидел в военной тюрьме в Андерсонвилле, и у него погиб брат. Брат умер от голода, и, вспоминая об этом, плотник плакал. У него, как и у старого писателя, были седые усы, плача, он надувал губы, и усы ездили вверх и вниз. Плачущий старик с сигарой во рту выглядел смешно. О писательском проекте поднятия кровати забыли, и впоследствии плотник сделал все по-своему, а писатель, которому шел седьмой десяток, вынужден был взбираться на кровать при помощи стула.

В постели писатель поворачивался на бок и лежал тихо. Много лет его осаждали соображения касательно его сердца. Он был заядлый курильщик, и сердце у него трепыхалось. В уме его угнездилась мысль, что он умрет скоропостижно, и, когда он ложился спать, он каждый раз думал об этом. Мысль эта не пугала его. Но действовала особым образом, трудно даже объяснить каким. Из-за нее он в постели оживлялся — больше, чем где бы то ни было. Лежал он совсем тихо, тело у него было старое, и проку от него уже было мало, но что-то внутри оставалось совсем молодым. Он был как беременная женщина — только носил в себе не младенца, а молодость. Нет, даже не молодость, а женщину, молодую и в кольчуге, как рыцарь. Видите, бессмысленно объяснять, что оживало у писателя внутри, когда он лежал на высокой кровати и прислушивался к трепыханию сердца. Разобраться же надо в том, о чем думал писатель или это молодое внутри него.

В голове у старика писателя, как и у всех людей на свете, за долгую жизнь накопилось много понятий. В свое время он был интересным мужчиной, и не одна женщина любила его. А кроме того, он знал людей, знал как-то особенно близко, не так, как знаем людей мы с вами. Так, по крайней мере, думал сам писатель, и ему было приятно так думать. Не спорить же со старым человеком о его мыслях?

Писателя в постели посещал сон, то есть не совсем сон. Где-то на полпути между явью и дремотой перед глазами его возникали фигуры. Ему представлялось, будто это молодое, необъяснимое, что живет в нем, проводит длинную вереницу фигур перед его глазами.

И любопытно тут, видите ли, то, какие фигуры проходили перед глазами писателя. Все они были нелепы. Все мужчины и женщины, которых писатель знал, становились нелепыми.

Эти нелепые люди не все были уродами. Были забавные, были почти прекрасные, а одна женщина, совсем искаженного вида, ранила старика своей нелепостью. Когда она проходила, он скулил наподобие собачонки. Очутись вы в комнате, вы, пожалуй, подумали бы, что у старика дурные сны или же несварение желудка.

Час тянулась вереница нелепых людей перед глазами старика, а затем, хоть и тяжело ему это было, он вылезал из постели и садился записывать. Кое-кто из нелепых людей глубоко западал ему в душу, и ему хотелось описать их.

За столом писатель работал час. В итоге получилась книга, которую он назвал «Книгой о нелепых людях». Ее так и не напечатали, но я ее однажды видел, и она произвела на меня неизгладимое впечатление. В книге была стержневая мысль, очень странная, и я усвоил ее навсегда. Вспоминая ее, я мог понять многих и многое, непонятное мне прежде. Мысль эта сложная, а упрощая, ее можно изложить примерно так.

Вначале, когда мир был молод, существовало множество мыслей, но правды как таковой не было. Человек вырабатывал правды сам, и каждая правда составлялась из множества неясных мыслей. Повсюду в мире были правды, и все они были прекрасны.

Старик занес сотни правд в свою книгу. Я не стану перечислять вам все. Была там правда девственности и правда страсти, правды богатства и нищеты, бережливости и транжирства, легкомыслия и самозабвения. Сотни и сотни правд, и все — прекрасные.

А потом набежали люди. Каждый, явившись, хватывал какую-нибудь правду, а особенно сильные хватывали по десятку.

Правды и сделали людей нелепыми. Старик развил целую теорию на этот счет. По его представлениям, как только человек захватывал для себя одну из правд, нарекал ее своею и старался прожить по ней жизнь, он становился нелепым, а облюбованная правда — ложью.

Сами понимаете, что старик, который затратил на писание всю жизнь и весь был полон словами, может написать сотни страниц на эту тему. И предмет так разросся в его мозгу, что писатель сам рисковал превратиться в нелепого человека. Но не превратился. По той же, я думаю, причине, по которой не напечатал свою книгу. Молодое внутри него — вот что спасло старика.

О старом же плотнике, который поднимал писателю кровать, я упомянул потому только, что среди всех нелепых личностей в книге писателя его, подобно многим так называемым простым людям, легче всего, наверное, можно было бы понять и полюбить.

РУКИ

Перевод В. Голышева

По ветхой веранде деревянного домика, стоявшего над оврагом города Уайнсбурга в Огайо, нервно прохаживался кругленький старичок. За широким полем, которое было засеяно клевером, а уродило только желтую сорную горчицу, он видел дорогу, по ней на телеге возвращались с полей сборщики ягод. Сборщики — парни и девушки — буйно веселились и кричали. Парень в синей рубашке прыгнул с телеги и пытался стащить девушку, а она пронзительно визжала и упиралась. Ноги парня взбили облако дорожной пыли, и оно наплыло на лик заходящего солнца. Над широким полем разнесся тонкий девичий голос. «Эй ты, Крыло Бидлбаум, волосы причеши, они тебе застыят», долетело до старика, который был лыс и нервно поводил ручками у голого белого темени, словно приглаживая растрепавшиеся кудри.

Крыло Бидлбаум, вечно испуганный и осаждаемый призрачной оравой сомнений, считал себя совершенно посторонним в жизни городка, где он обитал двадцать лет. Из всех жителей Уайнсбурга лишь один с ним сблизился. Джордж Уилард, сын Тома Уиларда, хозяина гостиницы «Новый дом Уиларда», стал ему чем-то вроде друга. Джордж был единственным репортером «Уайнсбургского орла» и, случалось, вечерами приходил по

большаку к Бидлбауму. Вот и сейчас, расхаживая по веранде и нервно шевеля руками, старик надеялся, что Джордж Уилард придет и побудет с ним вечер. Когда телега со сборщиками ягод скрылась, он перешел поле густой горчицы, перелез через жердяную изгородь и стал с нетерпением смотреть на дорогу в город. Он постоял немного, потирая руки и оглядывая дорогу, но вскоре, поддавшись страху, убежал домой, опять ходить по веранде.

При Джордже Уиларде Крыло Бидлбаум, который вот уже двадцать лет был загадкой для города, отчасти превозмогал свою робость, и потаенная личность его, барахтавшаяся в море сомнений, выныривала, чтобы взглянуть на мир. В сопровождении молодого репортера он осмеливался при свете дня выйти на Главную улицу или же шагал взад-вперед по хлипкой веранде, возбужденно разговаривая. Голос его, обычно тихий и дрожащий, становился сильным и пронзительным. Согнутая спина распрямлялась. Вильнув телом, наподобие рыбки, отпущенной рыболовом в ручей, Бидлбаум, безмолвный, начинал говорить, сиюсь выразить в словах идеи, накопленные за многие годы молчания.

Крыло Бидлбаум много говорил руками. Тонкие выразительные пальцы, всегда подвижные, всегда норовившие спрятаться в карманах или за спиной, становились шатунами в механизме его речи.

Рассказ о Крыле Бидлбауме — это рассказ о руках. Он и прозвищем был обязан неугомонному их движению, похожему на трепет крыльев попавшей в неволю птицы. Какой-то безвестный поэт из горожан подметил это. Руки пугали его самого. Ему хотелось спрятать их, и он с изумлением глядел на спокойные немые руки людей, которые работали рядом с ним в поле или правили сонными упряжками на проселках.

Разговаривая с Джорджем Уилардом, Бидлбаум сжимал кулаки и стучал по столу или стенам дома. Это его успокаивало. Если желание говорить накатывало на него, когда они гуляли вдвоем по полю, он присматривал пень или верхнюю доску изгороди и, колотя по ним, возвращал себе свободу речи.

История рук Крыла Бидлбаума сама по себе заслуживает книги. Написать ее с сочувствием, и она откроет много удивительных прекрасных качеств в неприметных людях. Это — задача для поэта. В Уайнсбурге руки привлекли внимание только своим проворством. Ими Крыло Бидлбаум собирал до тринадцати ведер клубники за день. Они стали его отличительной особенностью, ими он прославился. Из-за них же еще нелепее выглядела эта и без того нелепая и неясная личность. Уайнсбург гордился руками Бидлбаума так же, как гордился новым каменным домом банкира Уайта или Тони Типом, гнедым рысаком Уэсли Мойра, победившим в забеге на 2,15 мили или на осенних состязаниях в Кливленде.

А Джорджу Уиларду не раз хотелось порасспросить о руках. Порой его охватывало почти нестерпимое любопытство. Он чувствовал, что неспроста они так странно подвижны и норовят спрятаться, и лишь уважение к Крылу Бидлбауму не позволяло ему выпалить вопросы, часто просившиеся на язык.

Один раз он чуть не спросил. Летним днем они гуляли вдвоем по полям и присели на травянистом косогоре. Всю прогулку Крыло Бидлбаум разговаривал, словно на него нашло вдохновение. По дороге он остановился у изгороди и, стуча в верхнюю доску, словно гигантский дятел, стал кричать на Джорджа Уиларда, упрекая его в том, что он слишком поддается чужим влияниям. «Вы себя губите, — кричал он. — Вы склонны к одиночеству и мечтам, а мечтать боитесь. Вы хотите быть, как все остальные в городе. Слышите их разговоры и стараетесь им подражать».

На травянистом косогоре Крыло Бидлбаум снова пытался вдолбить эту мысль. Голос его стал мягким, задумчивым, и со сладким вздохом он пустился в длинные, бессвязные рассуждения, как человек, отдавшийся мечте.

С этой мечты он рисовал Джорджу Уиларду картину. На картине люди снова жили в простоте какого-то золотого века. По зеленой равнине двигались стройные юноши — одни пешком, другие на конях. Юноши толпами стекались к ногам старца, который сидел в садике под деревом и беседовал с ними.

Бидлбаума обуревало вдохновение. Вот когда он забыл о руках. Медленно прокрались они вперед и легли на плечи Джорджа Уиларда. По-новому, смело зазвучал его голос. «Вы должны забыть все, чему научились, — увещевал старик. — Вы должны научиться мечтать. С этого дня отвратите слух от людского гвалта».

Умолкнув, Крыло Бидлбаум долго и внушительно смотрел на Джорджа Уиларда. Глаза его горели. Он опять было поднял руки, приласкать юношу, и вдруг на его лице отразился ужас.

Бидлбаум судорожно вскочил на ноги и запихнул руки глубоко в карманы. На глазах у него показались слезы. «Мне надо идти домой. Не могу больше разговаривать с вами», — нервно сказал он.

Старик, не оглядываясь, заспешил вниз по кособогу и через луг, а озадаченный и напуганный Джордж Уилард все сидел на траве. Поежившись от страха, он встал и пошел по дороге к городу. «Не буду спрашивать его о руках, — растроганно думал он, вспоминая, какой ужас был в глазах старика. — Неладно там что-то, но я не хочу знать. Неспроста он боится меня и всех на свете — и это связано с руками».

Джордж Уилард не ошибся. Заглянем в прошлое этих рук. Быть может, наши пересуды побудят поэта рассказать сокровенную и чудную историю учителя, чьи руки были всего лишь трепетными вымпелами обетования.

В молодости Крыло Бидлбаум был учителем в одном городке в Пенсильвании. Тогда он звался не Крыло Бидлбаум, а менее звучно — Адольф Майерс. Ученики очень любили этого Адольфа Майерса.

Адольф Майерс был создан для учительства самой природой. Он был из тех редких, вызывающих недоумение людей, которые пользуются властью так мягко, что в них видят только милую слабость. В чувстве таких людей к их воспитанникам есть что-то от любви чистой женщины к мужчине.

Но и это сказано приблизительно. Тут нужен поэт. Со своими учениками Адольф Майерс гулял по вечерам или сидел до сумерек на школьном крыльце и беседовал, будто мечтая. Руки его не знали покоя: то погладят мальчика по плечу, то потреплют по взъерошенной голове. Голос его при этом становился мягким и напевным. В нем тоже была ласка. И голос, и руки, которые гладили ребят по плечам и касались волос, тоже участвовали в стараниях учителя вселить мечту в молодые умы. Лаской, которую несли его пальцы, он изъяснялся. Он был из тех людей, у кого жизнетворная сила рассеяна, а не сосредоточена в одном месте. Под ласковыми руками мальчишеские умы освобождались от сомнений и неверия, и дети тоже начинали мечтать.

А затем — трагедия. Один придурковатый ученик влюбился в молодого учителя. Ночами в постели он воображал немыслимое, а утром рассказывал о своих снах, как о событиях действительности. Жуткие, неслыханные обвинения слетали с его отвислых губ. Пенсильванский городок содрогнулся. Смутно тлевшие в людских умах сомнения насчет Адольфа Майерса вспыхнули убежденностью.

Трагедия разыгралась быстро. Дрожащих ребят выдергивали из постелей и допрашивали. «Он обнял меня», — говорил один. «Он всегда ерошил мне волосы», — говорил другой.

Однажды днем к дверям школы пришел местный житель, хозяин салуна Генри Бредфорд. Он вызвал Адольфа Майерса на школьный двор и стал избивать кулаками. Чем дольше молотил он тяжелыми кулаками по испуганному лицу учителя, тем ужаснее распалялся гневом. С отчаянными криками дети бросались туда и сюда, как растревоженные насекомые. «Я покажу тебе, как хватать моего сына руками, скотина», — ревел кабатчик и, устав бить учителя, принялся гонять его по двору пинками.

А ночью Адольфа Майерса выдворили из пенсильванского городка. Человек десять мужчин с фонарями явились к дверям дома, где он жил один, велели ему одеться и выйти. Шел дождь, и у одного была в руках веревка. Они собирались повесить учителя, но что-то в облике этого человека, такого маленького, бледного, жалкого, тронуло их сердца, и они дали

ему убежать. Когда он побежал в темноту, они пожалели о своем слабодушии и погнались за ним, с бранью, бросая в него палки и большие комья грязи, а он, крича, все быстрее и быстрее убегал в темноту.

Двадцать лет прожил одиночкой в Уайнсбурге Адольф Майерс. Ему было всего сорок, а выглядел он на шестьдесят пять. Фамилия Бидлбаум попала ему на ящике, на товарной станции городка в восточной части Огайо, который он миновал по пути. В Уайнсбурге у него была тетка, старуха с черными зубами, разводившая кур, и с ней он прожил до ее смерти. После истории в Пенсильвании он год хворал, а когда выздоровел, стал поочередно работать на полях, стесняясь людей и пряча руки. Он хоть и не понимал того, что с ним произошло, но догадывался, что во всем виноваты руки. Отцы учеников поминали их беспрерывно. «Будешь у меня руки распускать!» — ревел на школьном дворе кабатчик, приплясывая от ярости.

Крыло Бидлбаум расхаживал по веранде своего домика над оврагом, пока не скрылось солнце и не пропала в сером сумраке за полем дорога. Он вошел в дом, нарезал хлеба и намазал ломти медом. Когда смолкло громохание вечернего поезда, увозившего пассажирской скоростью сегодняшний сбор ягод, и вернулась тишина летнего вечера, он снова принялся ходить по веранде. В темноте он не видел своих рук, и они успокоились. Хотя он по-прежнему жаждал увидеться с юношей — посредником, через которого он объяснялся в любви к людям, — эта жажда опять растворилась в его одиночестве и его ожидании. Крыло Бидлбаум зажег лампу, вымыл посуду после своего скудного ужина, поставил перед сетчатой уличной дверью койку и начал было раздеваться. На чисто вымытом полу, возле стола, валялись крошки белого хлеба; он переставил лампу на низенькую скамейку и принялся подбирать крошки, отправляя их по очереди в рот с непостижимой быстротой. В ярком пятне света под столом человек на коленях был похож на священника, справляющего какую-то церковную службу. Нервные выразительные пальцы летали из света в тень и обратно совсем как пальцы монаха, когда они перепускают, десяток за десятком, бусины четок.

БУМАЖНЫЕ ШАРИКИ

Перевод Н. Бать

Это был седобородый старик с огромным носом и огромными руками. Задолго до того, как мы с ним познакомились, он был доктором и разъезжал из дома в дом по улицам Уайнсбурга, погоняя старую белую клячу. А потом он женился на богатой девушке. После смерти отца ей досталась большая ферма с плодородными землями. Это была спокойная, высокая, темноволосая девушка, и многие находили, что она очень хороша собой. В Уайнсбурге все удивлялись, почему она вышла за доктора. А через год после свадьбы она умерла...

На пальцах у доктора были необычайной величины суставы. Когда он сжимал руку в кулак, то казалось, что это — шероховатые деревянные шарики величиной с грецкий орех, насаженные на стальные стержни. Доктор курил трубку из кукурузного стебля и после смерти жены целыми днями просиживал в пустом кабинете у окна, затянутого паутиной. Он его никогда не открывал. Как-то жарким августовским днем он попробовал было отворить его, но створки так заело, что доктор не стал с ним возиться и забыл о нем.

В Уайнсбурге забыли о докторе Рифи, а между тем в душе старика вызревали прекрасные семена. Одинокое сидел он в своем затхлом кабинете над мануфактурным магазином «Париж» в квартале Хофнера и трудился без устали, бесконечно разрушая то, что создавал. Он воздвигал маленькие пирамиды правды, а потом одним ударом превращал их в руины, чтобы вновь из обломков правды воздвигать новые пирамиды.

Доктор Рифи был очень высок. Лет десять он ходил в одном и том же костюме. Костюм

истрепался, на локтях и коленях светились крохотные дырочки. У себя в кабинете доктор надевал полотняный халат с огромными карманами, в которые постоянно засовывал клочки бумаги. Потом бумажки превращались в маленькие тугие шарики, и, когда карманы оказывались набиты доверху, доктор выбрасывал шарики прямо на пол. За десять лет у него появился только один друг, тоже старик, по имени Джон Спэниард, владелец древесного питомника. Порой, когда доктор бывал в шутливом настроении, он вынимал из кармана горсть бумажных шариков и кидал ими в своего приятеля.

— Вот тебе, дурень сентиментальный! Вот тебе, получай! — восклицал он, и его трясло от смеха.

История о том, как доктор Рифи ухаживал за высокой темноволосой девушкой, которая вышла за него замуж и оставила ему деньги, очень любопытна. В ней своя прелесть, как в маленьких корявых яблоках, что растут в садах Уайнсбурга.

Осенью идешь по садам, а под ногой земля затвердела от первых заморозков, яблоки уже почти собраны с деревьев. Их уложили в ящики и отправили в шумные города, и они попадут в квартиры, где много книг, журналов, мебели и людей. А на деревьях притаились маленькие корявые уродцы. Их не стали рвать. Эти яблочки с виду похожи на суставы на пальцах доктора Рифи.

Надкусишь такое яблочко, а оно сладкое, сочное. В щербатом бочке оно скопило всю свою сладость. И ты спешишь от дерева к дереву, ступая по твердой корке тронутой морозом земли, и набиваешь карманы корявыми шишковатыми яблочками. Немногие знают, как они хороши.

Дружба девушки с доктором Рифи началась однажды летним днем. Тогда доктору было сорок пять лет, и у него уже появилась привычка наполнять карманы клочками бумаги, которые он скатывал в тугие шарики, а потом выбрасывал. Он приобрел эту привычку, разъезжая в двуколке, которую лениво тащила по проселочным дорогам белая кляча. На клочках бумаги он набрасывал свои мысли, обрывки мыслей, концы и начала...

Одна за другой рождались эти мысли в мозгу доктора Рифи. Маленькие мысли сливались в огромную правду, и она заполняла его целиком. Гигантское облако правды росло и обволакивало весь мир. Оно становилось зловещим, а потом постепенно таяло, и маленькие мысли рождались вновь.

Высокая темноволосая девушка пришла к доктору Рифи потому, что должна была стать матерью. Она была очень испугана. Тому, что с ней произошло, предшествовали тоже любопытные обстоятельства.

Ее родители умерли, доставшиеся ей в наследство земли привлекли к ее ногам толпу женихов. Они осаждали ее почти каждый вечер в течение двух лет. Все они, кроме двоих, были на один лад. Все клялись в страстной любви, и в голосе и взгляде каждого было что-то напряженное, жадное. А те двое, что отличались от прочих, ничем не походили и друг на друга. Один из них — сын уайнсбургского ювелира, стройный юноша с бледными руками, — всегда говорил с ней о девственной чистоте. Он постоянно твердил об этом, когда бывал у нее. Другой — черноволосый парень с большими ушами — вовсе ничего не говорил, но всякий раз норовил увлечь ее в темный угол и целовать.

Одно время девушка думала, что выйдет за сына ювелира. Часами безмолвно слушала она его, а потом ее стал охватывать страх. Ей чудилось, что в его словах о девственной чистоте таится похоть еще большая, чем у других. А порой ей казалось, что, пока он говорит, руки его трогают ее тело. И чудилось, будто эти бледные руки медленно поворачивают ее и он разглядывает ее всю.

А ночью ей приснилось, что он впился в ее тело зубами и с губ его каплями стекает кровь. Три раза снился ей этот сон. А потом она забеременела от черноволосого, который все молчал, а в минуту страсти на самом деле впился зубами ей в плечо, так что несколько дней не проходили следы.

Когда девушка познакомилась с доктором Рифи, ей захотелось остаться с ним навсегда. Она пришла к нему однажды утром, и он без слов понял все, что с ней случилось.

В кабинете доктора сидела женщина — жена хозяина книжной лавки. Как все старомодные провинциальные врачи, доктор Рифи умел рвать зубы, и женщина с больным зубом, приложив ко рту платок, громко стонала в ожидании операции. Тут же присутствовал ее муж, и, когда зуб был вырван, супруги разом охнули, и на белое платье женщины потекла кровь. Девушка даже не взглянула на них. Когда они ушли, доктор улыбнулся ей.

— Теперь я повезу вас за город, — сказал он.

С тех пор высокая темноволосая девушка и доктор проводили вместе почти все дни. Вскоре болезнь прервала то, что привело ее к доктору Рифи. Но теперь она уподобилась тем, кому открылась прелесть маленьких корявых, шишковатых яблок, и ее уже не привлекали большие, красивые, круглые плоды, которые посылают в шумные города. Осенью она стала женой доктора Рифи, а весной умерла. За зиму доктор прочел ей все, что нацарапал на клочках бумаги. Он прочитывал написанное и тихо смеялся, а потом снова засовывал бумажки в карман, и там они превращались в маленькие тугие шарики.

МАТЬ

Перевод Н. Бать

Элизабет Уилард, мать Джорджа Уиларда, была высокой изможденной женщиной со следами оспы на лице. Ей было не более сорока пяти лет, но какой-то скрытый недуг иссушил ее тело. Безучастно бродила она по запущенной старой гостинице, равнодушно глядя на выцветшие обои и протертые ковры. Временами, когда хватало сил, она выполняла работу горничной, прибирала постели, засаленные тучными коммивояжерами. Муж ее, Том Уилард, стройный, широкоплечий, элегантный мужчина, с быстрой походкой военного и черными усами, острые кончики которых лихо торчали вверх, старался вовсе не думать о жене.

Высокая женщина, бродившая по дому, словно призрак, была ему живым укором. Вспоминая о ней, он всякий раз приходил в ярость и принимался проклинать все на свете. Гостиница не давала дохода, семье постоянно грозило разорение. Тому Уиларду хотелось все бросить и уйти прочь. Старый дом и его хозяйка казались ему чем-то гибнущим, обреченным. Гостиница, где он начал жизнь, полный радужных надежд, превратилась теперь в жалкое подобие гостиницы. И не раз, быстро шагая по улице с видом решительным и деловым, щегольски одетый Том Уилард вдруг останавливался и боязливо оглядывался, словно опасаясь, что старый дом с живущей в нем женщиной гонится за ним по пятам. «Будь она проклята, такая жизнь!» — бормотал он в бессильном гневе.

Том Уилард питал страсть к политике. Много лет он был самым видным демократом в округе, где преобладали республиканцы. «Придет еще мое время, — утешал он себя, — политический курс переменится, и тогда мне зачтутся долгие годы верной службы!» Он мечтал быть избранным в конгресс, он видел себя даже на посту губернатора. Однажды на конференции демократов какой-то молодой человек начал хвастать своим усердием и преданностью партии. Том Уилард побелел от гнева.

— Хватит! — рявкнул он, яростно сверкнув глазами. — Что ты смыслишь, молокосос! Лучше посмотри на меня! Я стал демократом в Уайнсбурге, когда это считалось преступлением. В ту пору за демократами с ружьем гонялись.

Элизабет Уилард и ее единственного сына Джорджа соединяли крепкие узы глубокой молчаливой привязанности. Эта близость была согрета воспоминаниями матери о давно угасшей девичьей мечте. При Джордже мать бывала застенчива и сдержанна. Но иной раз, когда он бегал по городу в поисках репортерского материала для газеты, Элизабет входила в его комнату и, притворив дверь, опускалась на колени перед стоявшим у окна маленьким письменным столом, переделанным из кухонного. Здесь, в комнате сына, она совершала обряд, который был то ли молитвой, то ли требованием, обращенным к небесам. Мать

жаждала, чтобы в юноше возродилась далекая, полузабытая мечта, когда-то жившая в ней самой. Об этом она и молилась. «Пусть я умру! Но и тогда я не дам тебе погибнуть!» — восклицала она с такой страстной решимостью, что все ее тело охватывала дрожь. Ее глаза сверкали, руки сжимались в кулаки. «Если я увижу, что сын мой превращается в такое же ничтожное создание, как я сама, то я встану из гроба. Пусть Господь внемлет моей мольбе. Я прошу! Я требую! Я готова понести кару. Пусть сам Господь покарает меня своей десницей. Я приму любые муки, лишь бы мальчику моему дано было найти себя в жизни за нас обоих». Умолкнув, она оглядывала комнату и, словно в нерешительности, тихо добавляла: «И пусть не будет он самодовольным и преуспевающим».

Отношения матери и сына со стороны могли показаться обыденными. Джордж иной раз навещал ее по вечерам, когда она, больная, сидела в своей комнате у окна. Он присаживался рядом, и они вместе смотрели в окно, поверх крыши небольшого деревянного дома на Главной улице. Стоило повернуть голову, и через другое окно они видели переулок позади лавок Главной улицы и черный ход пекарни Эбнера Грофа. Не раз им случалось наблюдать сценку из жизни захолустья. На пороге пекарни появлялся Эбнер Гроф. В руке он держал палку или пустую бутылку из-под молока. Эбнер уже давно вел войну с серой кошкой аптекаря Сильвестра Уэста. Мать и сын видели, что кошка опять прошмыгнула в дверь пекарни, потом стремглав выскочила оттуда, а за нею, размахивая руками и бранясь, мчался сам пекарь. У него были подслеповатые красные глазки, черные волосы и борода в муке. Случалось, Эбнер приходил в совершенное неистовство. Врага уж и след простыл, а он все швырял куда попало битые бутылки, палки и даже орудия своего ремесла. Однажды он разбил стекло в лавке хозяйственных товаров Сининга. А тем временем серая кошка обычно отсиживалась в переулке за ящиками с битым стеклом и мусором, над которым жужжал черный рой мух. Как-то, наблюдая в одиночестве долгий и бесплодный приступ ярости Эбнера, Элизабет закрыла лицо своими узкими белыми ладонями и заплакала. С тех пор она перестала смотреть в переулок и старалась не думать в поединке бородатого пекаря с кошкой. Эта сцена с ужасающей наглядностью напоминала ей ее собственную жизнь.

Когда мать и сын по вечерам молча сидели наедине, их охватывало смущение. Спускалась тьма, к вокзалу подходил вечерний поезд. С улицы доносился стук шагов до дощатому тротуару. После отхода поезда на станцию надвигалась тяжелая тишина. Иногда слышно было, как по платформе тарахтит багажная тележка носильщика Скиннера Лизона. С Главной улицы доносился мужской смех. С шумом захлопывалась дверь багажной камеры. Джордж Уилард поднимался и, не глядя, нащупывал дверную ручку. Случалось, что он в темноте наталкивался на стул и со скрипом волочил его по полу. У окна сидела больная женщина, неподвижная, безучастная. Ее белые, бескровные руки бессильно свисали с подлокотников кресла.

— Пойди погуляй с товарищами, — говорила она, стараясь нарушить неловкое молчание. — Хватит тебе сидеть взаперти.

— Что ж, я, пожалуй, пройду, — смущенно запинаясь, отвечал Джордж.

Летом постояльцы гостиницы «Новый дом Уиларда» обычно покидали свой временный приют. Однажды июльским вечером, когда длинные коридоры опустевшего дома, освещенные тусклыми керосиновыми лампами, тонули во мраке, с Элизабет Уилард случилось происшествие. Уже несколько дней она лежала в постели больная, а сын все не приходил ее проведать. Она тревожилась. Тревога разожгла догоравшие в ней искры жизни, и они вспыхнули пламенем. Она поднялась с постели, оделась и, вся дрожа от обуревавших ее страхов, торопливо направилась по коридору к комнате сына. Она шла, тяжело дыша, то и дело прислоняясь к стене; она ускоряла шаг, браня себя в то же время за нелепые опасения.

«Наверно, мальчик занят своими делами, — успокаивала она себя. — Вот и все. Может быть, по вечерам он уже гуляет с девушками».

Элизабет Уилард боялась попадаться на глаза постояльцам гостиницы, которая когда-то принадлежала ее отцу, а потом перешла в ее собственность, о чем свидетельствовал документ в окружном суде. У гостиницы был жалкий, обшарпанный вид, с каждым днем

постояльцев становилось все меньше, и ей казалось, что она сама выглядит такой же обшарпанной и жалкой. Обычно она сидела у себя в комнате в дальнем углу дома, а когда хватало сил, прибирала постели в комнатах жильцов. Эту работу она предпочитала всякой другой, потому что ею можно было заниматься, когда постояльцы уходили в город заключать сделки с торговцами Уайнсбурга.

Дойдя до комнаты сына, мать опустилась на колени у двери и прислушалась. Услышав, что мальчик ее ходит по комнате и что-то тихо говорит, она улыбнулась. Привычка Джорджа разговаривать с самим собой доставляла матери особую радость. Ей казалось, что от этой привычки еще крепче делались связывающие их тайные нити. Сколько раз шептала она: «Это он все ощупью бродит, ищет... Хочет найти себя... Он у меня не какой-нибудь чванливый бахвал, нет, в нем что-то втайне зреет и крепнет. Это то самое, что когда-то я убила в себе».

Больная женщина, стоявшая на коленях в темном коридоре, поднялась и направилась обратно. Она боялась, что сын откроет дверь и застанет ее врасплох. Она хотела свернуть в другой коридор, но внезапный приступ слабости вынудил ее остановиться. Она держалась за стену, собираясь с силами. Сын ее оказался дома, и теперь мать успокоилась. Как много времени провела она в постели наедине с тревожными мыслями, которые сначала были крошечными карликами, а потом превратились в страшных великанов! Теперь они все сразу исчезли. «Я пойду в свою комнату и усну», — пробормотала она благодарно.

Но Элизабет Уилард не пришлось пойти в свою комнату и уснуть. Когда она, дрожа от слабости, стояла в темном коридоре, дверь из комнаты сына растворилась, и на пороге показался отец Джорджа — Том Уилард. Льющийся из окна свет падал на него. Он стоял, держась за ручку двери, и продолжал говорить. И слова его привели женщину в неистовую ярость.

Том Уилард мечтал, чтобы его сын сделал карьеру. Себя самого он причислял к людям, которым сопутствует успех, хотя ни одно из его начинаний успеха не имело. И все же стоило ему отойти подальше от гостиницы, где грозила встреча с женой, как он приосанивался и начинал изображать из себя одного из влиятельнейших отцов города. Ясно, что сын Тома Уиларда должен выйти люди. Ведь это он пристроил сына в редакцию «Уайнсбургского орла». И теперь строгим голосом Том Уилард делал сыну отеческое внушение.

— Имей в виду, Джордж, пора тебе встряхнуться, — наставлял его отец, Уилл Хендерсон мне уже три раза на тебя жаловался. Слоняется, говорит, часами, не слышит, когда окликнут, и вообще держит себя как девчонка-деревенщина. Что с тобой? — Том Уилард добродушно рассмеялся. Ну, ты, конечно, возьмешь себя в руки. Так я ему и сказал. Ты у меня не дурак и не баба. Сын Тома Уиларда сумеет встряхнуться. Я могу быть спокоен. К тому же то, что ты мне сейчас сказал, многое объясняет. Значит, попробовав газетной работы, ты решил стать писателем. Что ж, пожалуй, я не против. Только для этого тоже надо встряхнуться, а?

Том Уилард быстро зашагал прочь и спустился по лестнице в контору. Стоявшая в темноте женщина слышала, как он смеется, о чем-то разговаривая с постояльцем, который было задремал в кресле у дверей конторы, коротая скучный вечер. Она опять направилась к комнате сына. Она шла по коридору, и слабость словно рукой сняло. Тысячи мыслей вихрем проносились в мозгу. Но, услышав из-за двери шум пододвигаемого стула и скрип пера по бумаге, она повернулась и снова пошла к себе.

В этот миг жена хозяина уайнсбургской гостиницы, неудачница Элизабет Уилард, приняла решение. После многолетних и обычно бесплодных размышлений оно созрело наконец в ее мозгу.

— Пришла пора, — прошептала она, — надо действовать. Моему сыну грозит опасность, и я должна его спасти.

Ее особенно волновало то, что отец и сын разговаривали спокойно, словно прекрасно понимали друг друга. Элизабет много лет ненавидела мужа. Но ее ненависть не была направлена против него лично. Словно муж был частью чего-то другого, что было ей

ненавистно. А теперь, после нескольких слов, сказанных им в коридоре, Том Уилард стал воплощением всего, что она ненавидела. Она стояла в темной спальне, сжав кулаки, глаза ее горели; потом она подошла к висящему на стене полотняному мешочку и, вынув из него длинные ножницы сжала их в руке, словно кинжал.

— Я убью его, — громко сказала она. — Он стал голосом зла, и я убью его. А когда я убью его, в моей груди что-то разорвется, и я тоже умру. Так будет лучше для всех нас.

В дни юности, до брака с Томом Уилардом, Элизабет не отличалась безупречной репутацией. Несколько лет она, как говорится, «бесилась». В ярких, кричащих платьях она разгуливала по улицам Уайнсбурга с заезжими коммивояжерами, которые останавливались в гостинице отца, и жадно выпрашивала у них о жизни в больших городах. Однажды она всполошила весь Уайнсбург: в мужском костюме она проехала на велосипеде по Главной улице.

В мыслях высокой темноволосой девушки царило смятение. Владевшее ею беспокойство выражалось двояко. Прежде всего она жаждала перемены. Ей хотелось, чтобы жизнь ее была полна непрерывного быстрого движения. Это привело ее к мысли о сцене. Она мечтала попасть в бродячую труппу и странствовать по свету, постоянно встречать новые лица и отдавать людям частицу своей души. И порой по ночам, мечтая об этом, она совсем теряла голову. Но все попытки поговорить с актерами, которые, приезжая в город, останавливались в гостинице, ни к чему не приводили. Они не понимали, чего она хочет. А если ей удавалось кое-как выразить волновавшие ее чувства, они смеялись.

— Это совсем не то, что вам кажется, — говорили они. — В нашей жизни та же скука, что и здесь у вас. Ничего это вам не даст.

С коммивояжерами, а потом с Томом Уилардом все было по-другому. Они всегда делали вид, что понимают ее и сочувствуют. И где-нибудь в темных переулках, под деревьями, пожимали ей руку, и ей казалось, будто нечто невыразимое, переполнявшее ей душу, сливалось с чем-то столь же тайным и невыразимым в душах ее спутников.

Смутное беспокойство Элизабет находило выход еще и в другом. Поначалу это приносило ей радость и облегчение. Она не упрекала тех мужчин, с которыми проводила время, как не упрекала потом Тома Уиларда. Все всегда бывало одинаково: начиналось с поцелуев, а кончалось, после странных, бурных приступов страсти, успокоением и слезами раскаяния. Рыдая, она гладила рукой лицо мужчины, не в силах отделаться от одной и той же мысли. Даже если это был высокий, бородатый человек, ей казалось, что он вдруг превратился в маленького мальчика. И она удивлялась, почему он не плачет вместе с ней.

В своей комнате, в самом дальнем углу старого дома, Элизабет зажгла лампу и поставила ее на маленький столик недалеко от двери. Потом что-то пришло ей на ум, она открыла шкаф, достала оттуда маленькую квадратную коробочку и поставила ее на стол. Это была коробочка с гримом, забытая среди других вещей актерами, некогда посетившими Уайнсбург. Элизабет Уилард решила сделаться красавицей! Ее густые черные волосы, еще не тронутые сединой, были заплетены в косы и уложены вокруг головы.

Она ясно представила себе сцену, которая произойдет внизу в конторе. Перед Томом Уилардом предстанет не жалкое, изможденное создание, а женщина поразительной красоты. Высокая, смуглолицая, с волосами, тяжелой волной ниспадающими с плеч, спустится она по лестнице и пройдет мимо пораженных постояльцев прямо в контору отеля. Женщина будет безмолвна — быстрая и грозная. Словно тигрица, спасающая своего детеныша, появится она из мрака и подкрадется бесшумной поступью, сжимая в руке длинные зловещие ножницы.

Подавив рыдание, Элизабет Уилард задула лампу и осталась в темноте, бессильная, дрожащая. Чудом вернувшиеся силы вновь покинули ее, и она бы упала, если бы не ухватила за спинку кресла, в котором провела столько долгих дней, устремив взор поверх железных крыш на Главную улицу Уайнсбурга. В коридоре послышались шаги, и на пороге появился Джордж Уилард. Он опустился на стул рядом с матерью и стал говорить.

— Я уезжаю, — сказал он. — Я еще не знаю, куда поеду и что буду делать, но только мне надо ехать.

Вся дрожа, женщина в кресле молча ждала. Вдруг она сказала:

— Конечно, пора тебе встряхнуться, ведь правда? Ты поедешь в большой город и разбогатеешь, да? Тебе, наверно, хочется выйти в люди, стать удачливым, богатым дельцом?

Вся дрожа, она ждала. Сын покачал головой.

— Вряд ли я сумею тебе объяснить, но как бы мне хотелось, чтобы ты поняла, — серьезно сказал он. — Я не могу об этом говорить с отцом. Что толку? Он все равно не поймет. Да я и сам еще не знаю, что буду делать. Мне просто хочется уехать, повидать людей, подумать...

В комнате, где сидели мать и сын, воцарилось молчание. И вновь, как в прежние вечера, обоих охватило смущение. Потом юноша снова заговорил:

— Вряд ли я уеду больше чем на год, на два, но я уже давно об этом думаю, — сказал он, поднимаясь, и направился к двери. — Мне непременно надо уехать, в особенности после разговора с отцом.

Он стоял, держась за ручку двери. Теперь молчание стало для женщины невыносимым. Ей хотелось закричать от радости, которую принесли слова сына, но выражать радость она давно уже разучилась.

— Ты бы пошел погулять с друзьями, довольно тебе сидеть взаперти, сказала она.

— Что ж, я, пожалуй, немного пройдуся, — ответил сын. Помешкав, он вышел из комнаты и притворил за собой дверь.

ФИЛОСОФ

Перевод В. Голышева

Доктор Персивал был крупный мужчина с вялым ртом и желтыми усами. Он всегда носил грязный белый жилет, из карманов которого торчали дешевые черные сигарки. У него были черные неровные зубы и что-то странное с глазами. Веко левого глаза дергалось; оно то падало, то взлетало — как будто веко было шторой, а в голове у доктора кто-то баловался шнуром.

Доктор Персивал был расположен к молодому Джорджу Уиларду. Знакомство их состоялось в тот год, когда Джордж работал в «Уайнбургском орле», причем заслуга здесь — исключительно доктора.

В конце дня владелец и редактор «Орла» Уилл Хендерсон отправился в салун Тома Уилли. Шел он туда переулком и, нырнув в салун с черного хода, принялся за напиток из тернового джина с содовой. Уилл Хендерсон был человек плотский, а лет ему исполнилось сорок пять. Он воображал, что джин возвращает ему молодость. Как большинство плотских людей, он любил потолковать о женщинах и час судачил с Томом Уилли. Хозяин салуна был коренастый, широкоплечий человек с необычными метинами на руках. Багровые родимые пятна, которые опаляют иногда лица мужчин и женщин, у Тома Уилли собрались на пальцах и тыльных сторонах рук. Беседуя за стойкой с Уиллом Хендерсоном, он потирал руки. Чем больше он возбуждался, тем ярче выступала на пальцах краснота. Как будто руки окунулись в кровь, а потом она высохла и потускнела.

Пока Уилл Хендерсон стоял у стойки и, глядя на красные руки хозяина, рассуждал о женщинах, его помощник Джордж Уилард сидел в редакции «Орла» и слушал рассуждения доктора Персивала.

Доктор Персивал появился сразу после ухода редактора. Можно было подумать, что доктор наблюдал из окна своего кабинета и увидел, как редактор шел по переулку. Войдя в парадную дверь, он выбрал стул, закурил свою сигарку, закинул ногу на ногу и начал говорить. Он, видимо, стремился убедить юношу в преимуществах некоей линии поведения, которую сам не мог определить.

— Если вы не слепец, вы, наверно, заметили, что, хотя я зовусь врачом, пациентов у

меня раз, два и обчелся, — начал он. — Тому есть причина. Это не случайность, хотя в медицине я смыслю не меньше любого в городе. Мне не нужны пациенты. Причина, видите ли, лежит не на поверхности. Она кроется в свойствах моего характера, который, если задуматься, весьма причудлив. Почему мне захотелось говорить об этом с вами — сам не знаю. Я мог бы помалкивать и выглядеть внушительнее в ваших глазах. Мне хочется, чтобы вы мной восхищались, это правда. Не знаю почему. Потому я и разговариваю. Весьма забавно, а?

Иногда доктор пускался в длинные рассказы о себе. Молодому Уилларду его рассказы представлялись очень жизненными и полными смысла. Он стал восхищаться этим толстым неопрятным человеком и во второй половине дня, когда уходил Уилл Хендерсон, с острым любопытством ждал доктора.

Доктор Персивал жил в Уайнсбурге пять лет. Приехал он из Чикаго в подпитии и подрался с носильщиком Альбертом Лонгвортом. Драка завязалась из-за сундука и кончилась тем, что доктора препроводили в городскую кутузку. Выйдя на волю, он снял комнату над сапожной мастерской в нижнем конце Главной улицы и повесил вывеску, где объявлял себя врачом. Хотя пациентов у него было мало, да и те из бедных и платить не могли, недостатка в деньгах он, по-видимому, не испытывал. Спал он в своем кабинете, несказанно грязном, а обедал в закусочной Бифа Картера — в маленьком деревянном доме напротив станции. Летом закусочная наполнялась мухами, а белый фартук Бифа Картера был грязнее пола. Доктора это не смущало. Он величественно входил в закусочную и выкладывал на прилавок двадцать центов. «Потчуйте на это чем угодно, — смеялся он. — Используйте пищу, которую больше некому скормить. Мне все равно. Я, видите ли, человек особенный. С какой стати я буду беспокоиться из-за еды?»

Рассказы, которыми доктор Персивал угощал Джорджа Уилларда, ничем не начинались и ничем не кончались. Порой молодой человек думал, что все это выдумки, сплошные небылицы. Но потом снова приходил к убеждению, что в них содержится сама суть правды.

— Я работал репортером, как вы тут, — начинал доктор Персивал. — Это было в одном городке в Айове... или в Иллинойсе? Не помню, да и какая разница? А вдруг я не хочу раскрывать, кто я такой, и поэтому избегаю подробностей? Вам никогда не казалось странным, что денег у меня хватает, хотя я ничего не делаю? А что, если я украл крупную сумму или был замешан в убийстве до того, как переехал сюда? Есть пища для размышлений, а? Будь вы в самом деле шустрым репортером, вы бы мной поинтересовались. В Чикаго был такой доктор Кронин, его убили. Не слышали? Какие-то люди убили его и засунули в сундук. Рано утром они провезли сундук через весь город. Он стоял на задке тарантаса, а они сидели спереди как ни в чем не бывало. И ехали по тихим улицам, где все еще спали. Над озером как раз вставало солнце. Ведь подумать даже странно: едут себе, покуривают трубки и болтают преспокойненько, как я сейчас. А что, если я был с ними? Неожиданный был бы поворот, правда ведь, а? — Доктор Персивал начинал свой рассказ снова: Ну, одним словом, был я репортером в газете, как вы тут, бегал туда-сюда, добывал новостиишки для печати. Мать у меня была бедная. Брала на дом стирку. Мечтала сделать из меня пресвитерианского священника, и я учился, готовил себя к этому.

Отец еще много лет назад сошел с ума. Он сидел в приюте для душевнобольных в Дейтоне, Огайо. Видите, вот я и проговорился! Все это происходило в Огайо, у нас в Огайо. Вот вам и ключ, если вздумаете мной поинтересоваться.

Я хотел рассказать вам о моем брате. Для чего я и начал. К чему и веду. Брат мой был железнодорожным маляром и работал на «Большой Четверке».¹ Вы знаете, эта дорога проходит через Огайо. Их бригада жила в вагоне — ездили из города в город, красили семафоры, шлагбаумы, мосты, станции.

«Четверка» красит свои станции мерзкой оранжевой краской. Как я ненавидел эту

¹ Железная дорога Кливленд — Цинциннати — Чикаго — Сент-Луис. (Здесь и далее примеч. переводчиков.)

краску! Брат всегда был в ней перемазан. В получку он напивался, приходил домой в перемазанной одежде и приносил деньги. Матери не давал, а клал стопкой на кухонный стол.

И по дому ходил в одежде, перемазанной мерзкой оранжевой краской. Как сейчас вижу. Мать — она была маленькая, с красными грустными глазами приходила из сарайчика на заднем дворе. Там она проводила свои дни над корытом, стирая чужую грязную одежду.

Придет, станет у стола и трет глаза фартуком, а фартук — весь в хлопьях мыльной пены.

— Не трогай! Не смей трогать эти деньги! — орал брат, а потом сам брал пять или десять долларов и, топоча, отправлялся по кабакам.

Истратив деньги, он приходил за новыми. Матери денег совсем не давал и оставался дома, пока не спускал все — понемногу за раз. А тогда опять возвращался на работу — в бригаду маляров на железной дороге. Когда он уезжал, к нам начинали приходиться покупки — бакалея и тому подобное. Иногда — платье для матери или пара туфель для меня.

Странно, а? Мать любила брата гораздо больше, чем меня, хотя ни ей, ни мне он в жизни не сказал доброго слова, а только скандалил и грозил: не смей прикасаться к деньгам, которые, случалось, по три дня пролеживали на столе.

Жили мы сносно. Я учился, чтобы стать священником, и молился. Форменным ослом был по молитвенному усердию. Слышали бы вы меня. Когда отец умер, я всю ночь молился — и так же бывало, когда брат пьянствовал в городе и делал нам покупки. Вечером, после ужина, я становился на колени у стола с деньгами и молился часами. Если никто не смотрел, я мог стянуть доллар-другой и спрятать в карман. Теперь мне это смешно, но тогда было ужасно. Из головы не выходило. В газете я получал шесть долларов в неделю и нес их прямо домой, матери. А то, что крал из денег брата, тратил на себя на всякую, знаете, ерунду: конфеты, сигареты и тому подобное.

Когда отец умер в дейтонском приюте, я поехал туда. Занял денег у своего издателя и поехал ночным поездом. Шел дождь. В приюте меня встречали, как короля.

Тамошние работники откуда-то прознали, что я репортер. И они испугались. Понимаете, за больным отцом ухаживали невнимательно, ухаживали недобросовестно. И они решили, что я пропечатаю их в газете, подниму шум. А у меня и в мыслях такого не было.

Короче говоря, я вошел в комнату, где лежал покойный отец, и благословил тело. Не знаю, с чего мне вздумалось. Вот посмеялся бы над этим мой брат-маляр! Я встал над мертвым телом и распротер руки. Заведующий приютом и какие-то подчиненные вошли и остановились с робким видом. Я распротер руки и сказал: «Да упокоится в мире этот труп». Вот что я сказал.

Доктор Персивал прервал рассказ, вскочил на ноги и заходил по редакции «Уайнсбургского орла», где сидел его слушатель Джордж Уилард. Доктор был неуклюжий, а комната редакции — тесная, и он то и дело налетал на мебель.

— И с чего я, дурак, разболтался? — сказал он. — Не для того я пришел сюда и навязываюсь вам в знакомые. Я имел в виду другое. Вы репортер, как я был когда-то, и вы привлекли мое внимание. Вы можете кончить тем, что станете таким же заурядным болваном. Я хочу предостеречь вас и остерегаться постоянно. Вот для чего я с вами встретился.

Доктор Персивал заговорил об отношении Джорджа Уиларда к людям. Юноше казалось, что цель у доктора только одна — выставить всех в гнусном виде.

— Я хочу вселить в вас ненависть и презрение, чтобы вы стали выше людей, — объявил он. — Возьмите моего брата. Вот это тип, а? Он презирал всех, понятно? Вы себе не представляете, с каким пренебрежением он взирал на мать и на меня. И разве он не был над нами высшим? Сами понимаете, что был. Вы его не видели, но я вам это показал. Дал почувствовать. Он умер. Однажды напился, лег на путях, и его переехал тот самый вагон, в котором он жил с малярами.

Как-то в августе с доктором Персивалом приключилась история. Вот уже месяц Джордж Уилард приходил к доктору каждое утро и просиживал в кабинете час. Визиты эти начались по настоянию самого доктора: он сочинял книгу и хотел почитать из нее молодому человеку. По его словам, он и в Уайнсбург перебрался именно с той целью, чтобы ее написать.

Августовским утром, перед приходом Джорджа, в кабинете доктора случилось происшествие. На Главной улице произошел несчастный случай. Упряжка испугалась поезда и понесла. Девочку, фермерскую дочь, выбросило из таратайки и убило.

На Главной улице поднялся переполох, раздались крики: «Врача!» Все три лечащих городских врача явились не мешкая, но нашли девочку мертвой. Кто-то из толпы прибежал за доктором Персивалом, но он наотрез отказался спуститься из кабинета к мертвому ребенку. На бессмысленную жестокость этого отказа никто не обратил внимания. Человек, который прибежал наверх за доктором, тут же кинулся обратно, не услышав отказа.

Всего этого доктор Персивал не знал, и, когда Джордж Уилард пришел к нему в кабинет, доктор дрожал от ужаса.

— То, что я сделал, возмутит всех здешних, — взволнованно объявил доктор. — Что я, не знаю человеческую натуру? Не знаю, что произойдет? Слушок о моем отказе поползет по городу. Люди станут собираться кучками и судачить о нем. Явятся сюда. Мы поссоримся, и пойдут разговоры о повешении. И тогда они явятся снова, с веревкой в руках.

Доктор Персивал дрожал от страха.

— У меня предчувствие, — с жаром объявил он. — Может быть, то, о чем я говорю, не произойдет сегодня утром. Может быть, отложится до ночи — но меня повесят. Все распадется. Меня повесят на фонарном столбе на Главной улице.

Подойдя к двери своего грязного кабинета, доктор Персивал робко выглянул на парадную лестницу. Когда он вернулся, страх в его глазах уже сменялся сомнением. Он прошел на цыпочках через комнату и постучал по плечу Джорджа Уиларда.

— Не сейчас, так потом, — прошептал он, качая головой. — Рано или поздно я буду распят, бессмысленно распят.

Доктор Персивал стал умолять Джорджа Уиларда.

— Слушайте меня внимательно, — убеждал он. — Если что-нибудь случится и я не напишу мою книгу, может быть, вам удастся ее написать. Идея ее проста, настолько проста, что, если вы не отнесетесь к ней вдумчиво, вы ее забудете. Она вот в чем: каждый на свете — Христос, и каждого распинают. Вот что я хочу поведать. Не забудьте этого. Что бы ни случилось, не смейте забывать.

НИКТО НЕ ЗНАЕТ

Перевод В. Голышева

Опасливо оглядевшись, Джордж Уилард встал из-за своего стола в редакции «Уайнсбургского орла» и торопливо вышел черным ходом. Вечер стоял теплый и пасмурный, и, хотя еще не было восьми, проулок за редакцией тонул в кромешной темноте. Где-то топали по спекшейся земле лошади у коновязи. Кошка выскочила из-под ног Джорджа Уиларда и шмыгнула в ночь. Юноша нервничал. Весь день работа у него валилась из рук. В проулке он вздрагивал, точно от страха.

Джордж Уилард шел в темноте по проулку осторожно и опасливо. Задние двери городских магазинов были открыты, и он видел людей, сидевших под лампами. У прилавка в галантерейном магазине Майербаума стояла с корзинкой миссис Уилли, жена содержателя салуна. Прислуживал ей приказчик Сид Грин. Он оперся на прилавок и серьезно что-то

говорил.

Джордж Уилард пригнулся и проскочил дорожку света, которая протянулась от двери. Он побежал в темноте. За салуном Эда Грифита спал на земле городской пьяница, старик Джерри Бёрд. Бегущий споткнулся о раскинутые ноги. И надсадно засмеялся.

Джордж Уилард затеял приключение. Весь день он решался на это и вот начал действовать. В редакции «Уайнсбургского орла» он с шести часов сидел и пытался думать.

Решения он так и не принял. Он просто вскочил на ноги, шмыгнул мимо Уилла Хендерсона, который читал в типографии гранки, и побежал проулком.

Улицу за улицей проходил Джордж Уилард, избегая встречных. Он перешел дорогу, раз и другой. Под фонарями он нахлобучивал шляпу на глаза. Он не осмеливался думать. В душе у него был страх, но страх необычный. Он боялся, что приключение сорвется, что он струсит и повернет обратно.

Джордж Уилард застал Луизу Траньон на кухне отцовского дома. Она мыла посуду при свете керосиновой лампы. Вот она стоит за сетчатой дверью в кухонной пристройке, похожей на сарайчик. Джордж Уилард остановился перед палисадником и старался унять дрожь. Только узкая картофельная грядка отделяла его от приключения. Пять минут прошло прежде, чем он собрался с духом окликнуть девушку. «Луиза! Луиза!» — позвал он. Крик застрял в глотке. Он превратился в хриплый шепот.

Луиза Траньон с посудным полотенцем в руке вышла к нему через картофельную грядку.

— С чего ты взял, что я захочу с тобой гулять? — надувшись, спросила она. — Почему это ты так уверен?

Джордж Уилард не ответил. Они молча стояли в темноте, разделенные забором.

— Ты иди пока, — сказала она. — Папа дома. Я приду. Жди у Вильямсова амбара.

Молодой репортер получил письмо от Луизы Траньон. Оно пришло этим утром в редакцию «Уайнсбургского орла». Письмо было кратким. «Я твоя, если хочешь», — гласило оно. Джорджу было досадно, что в темноте у забора она прикидывалась, будто между ними ничего нет. «Ну и нахальства у нее! Нет, это надо же, какое нахальство», — бормотал он, шагая по улице и мимо незастроенных участков, где росла кукуруза. Кукуруза стояла по плечо и была посеяна от самого тротуара.

Когда Луиза Траньон появилась на крыльце, на ней было все то же ситцевое платье, в котором она мыла посуду. Она вышла с непокрытой головой. Джордж увидел, что она остановилась, держась за ручку, и разговаривает с кем-то внутри — несомненно, с отцом, стариком Джеком Траньоном. Старик Джек был глуховат, и она кричала. Дверь закрылась, в переулке стало темно и тихо. Джордж Уилард задрожал еще сильнее.

В потемках, у Вильямсова амбара стояли Джордж и Луиза, не осмеливаясь заговорить. Она была не особенно хорошенькая, и сбоку на носу у нее чернело пятно. Джордж подумал, что она, наверно, потеряла нос пальцем, когда возилась с кастрюлями.

Молодой человек нервно засмеялся.

— Тепло, — сказал он. Ему хотелось дотронуться до нее. «Не очень-то я смелый», — подумал он. Только тронуть складки заношенного ситцевого платья, решил он, и то было бы острым наслаждением.

Она начала ломаться.

— Ты думаешь, ты лучше меня. Не увертывайся, я догадалась, — сказала она, придвигаясь поближе.

Из Джорджа Уиларда потоком хлынули слова. Он припомнил, каким взглядом поглядывала на него эта девушка, когда они встречались на улице, и подумал о ее записке. Сомнения покинули его. Он знал, какие слухи о ней ходят по городу, и это придавало ему уверенности. Он стал чистым самцом, беззастенчивым и напористым. В сердце у него не было к ней сочувствия.

— Да брось ты, ничего не случится. Никто ничего не узнает. Откуда им узнать? — убеждал он.

Они пошли по узкому кирпичному тротуару, из трещин которого росла высокая трава. Кое-где кирпичей не доставало, тротуар был выщербленный и шершавый. Он взял ее за руку — тоже шершавую, но показавшуюся ему восхитительно маленькой.

— Мне далеко нельзя, — сказала она, и ее голос был спокоен, невозмутим.

Они перешли по мосту узкий ручеек и миновали еще один незастроенный участок, где росла кукуруза. Улица кончилась.

По тропинке вдоль дороги им пришлось идти гуськом. Дальше начался ягодник Уилла Овертона, и там был штабель досок.

— Уилл собирается построить тут сарай, чтобы складывать ящики для ягод, — сказал Джордж, и они сели на доски.

На Главную улицу Джордж вернулся в одиннадцатом часу; капал дождь. Три раза прошел он из конца в конец Главную улицу. Аптека Сильвестра Уэста была открыта, он зашел туда и купил сигару. Ему было приятно, что приказчик Шорти Крандал проводил его до двери. Минут пять они постояли под аптечным тентом и поговорили. Уилард был доволен. Больше всего на свете ему сейчас хотелось поговорить с каким-нибудь мужчиной. Он свернул за угол, к «Новому дому Уилларда», тихонько насвистывая.

На тротуаре возле мануфактурного магазина Уини, где стоял высокий глухой забор, оклеенный цирковыми афишами, он перестал свистеть и замер в темноте, внимательно вслушиваясь, словно чей-то голос окликнул его по имени. Потом нервно засмеялся. «Ничего она не докажет. Никто не знает», упрямо пробормотал он и пошел своей дорогой.

НАБОЖНОСТЬ

Перевод В. Голышева

Рассказ в четырех частях

ЧАСТЬ I

На ферме Бентли всегда сидели на веранде или слонялись по садику трое-четверо стариков. Трое были женского пола, сестры Джесси. Бесцветные, тихие старушки. А молчаливый старик с жидкими седыми волосами приходился Джесси дядей.

Дом был деревянный, с бревенчатым каркасом и обшивкой из досок. Правильнее сказать, это был не один дом, а гроздь — слепленных довольно безалаберно. Внутри дом был полон неожиданностей. Из гостиной в столовую приходилось подниматься по ступенькам, и вообще из каждой комнаты в соседнюю приходилось либо подниматься по ступенькам, либо спускаться. Во время еды дом превращался в улей. Все тихо — и вдруг начинали отворяться двери, шаркали по ступеням ноги, раздавался приглушенный гомон голосов, и из десятка закутков возникали люди.

Кроме упомянутых стариков, в доме Бентли жило много другого народу. Четверо работников, домоправительница, которую звали тетя Колли Биби, придурковатая девушка Элиза Стафтон, которая стелила кровати и помогала доить, мальчик с конюшни и сам Джесси Бентли, владелец и властелин всего.

После Гражданской войны прошло двадцать лет, и та часть Северного Огайо, где лежали земли Бентли, расставалась с укладом жизни первых поселенцев. У Джесси уже были машины для уборки зерна. Он построил современные амбары, большая часть его земель была осушена с помощью старательно уложенных дренажных труб, но для того, чтобы понять этого человека, нам надо вернуться к более ранним дням.

До Джесси в Северном Огайо жили несколько поколений Бентли. Пришли Бентли из штата Нью-Йорк и осели здесь в ту пору, когда страна была новой и землю можно было взять задешево. Долгое время они, подобно всем остальным жителям Среднего Запада,

прозябали в бедности.

Край был лесной; бурелом и кустарник мешали возделывать землю. После долгих и тяжких трудов по рубке леса и расчистке земли все равно оставались пни, с которыми приходилось считаться. Плуги на поле застревали в скрытых корнях, всюду лежали камни, в низинах стояла вода, и молодая кукуруза желтела, чахла, гибла.

Когда отец и братья Джесси Бентли вступили во владение угодьями, самая тяжелая работа по большей части была проделана, но они держались старых порядков и работали, как тягловые животные. Жили, в общем, так же, как жили все земледельцы того времени. Весной и почти всю зиму дороги в город Уайнсбург представляли собой море грязи. Четверо молодых Бентли весь день тяжело работали в поле, поедали много жирной, грубой пищи и ночью спали, как утомленные звери, на подстилках из соломы. В их жизни мало что не было грубым и примитивным, и сами они внешне были грубыми и примитивными. В конце субботнего дня они запрягали лошадей в трехместную повозку и отправлялись в город. В городе они стояли возле печек в лавках и разговаривали с такими же земледельцами или лавочниками. Одевались они в комбинезоны, а зимой носили толстую одежду, заляпанную грязью. Они протягивали руки к печному теплу, руки были красные и потрескавшиеся. Разговаривать им было трудно, и они больше молчали. Накупив мяса, муки, сахару и соли, они шли в какой-нибудь городской кабак и пили пиво. Под действием хмеля вырывались на волю сильные вожеления, подавленные героическим трудом на девственной земле. Ими овладевал какой-то корявый и звероподобный поэтический раж. По дороге домой они становились ногами на сиденья повозки и кричали звездам. Иной раз дрались, долго и самозабвенно, а иной — разражались пением.

Однажды Енох Бентли, старший из братьев, ударил отца, старика Тома Бентли, кнутовищем, и похоже было, что старик не выживет. Несколько дней Енох хоронился от людей на сеновале в конюшне, предполагая бежать, если окажется, что его нечаянная вспышка гнева обернулась убийством. Жизнь он поддерживал едой, которую приносила мать, сообщавшая попутно о состоянии раненого. Однако все обошлось, и тогда он покинул убежище и снова принялся ворочать землю, как ни в чем не бывало.

* * *

Гражданская война круто повернула жизнь семьи и привела к возвышению младшего сына, Джесси. Енох, Эдвард, Гарри и Уилл Бентли, все записались в армию и в долгой войне все погибли. После того как они отправились на Юг, старик Том первое время пытался хозяйничать сам, но без успеха. Когда убили последнего из четверых, он передал Джесси, что ему надо вернуться домой.

Тут вдруг умерла мать, уже год хворавшая, и старик совсем пал духом. Стал поговаривать о продаже фермы и переезде в город. Весь день он слонялся, качал головой и бормотал. Работа в поле была заброшена, и среди кукурузы вымахали сорняки. Старик Том нанимал работников, но использовал их бестолково. С утра, когда они уходили в поле, он брел в лес и садился на колоду. Иногда он забывал вернуться домой, и кому-нибудь из дочерей приходилось вечером его разыскивать.

Когда Джесси Бентли вернулся и начал прибирать к рукам хозяйство, он был худеньким, нежного вида мужчиной двадцати двух лет. В восемнадцать лет он уехал из дома в школу, чтобы изучать науки, а потом стать священником пресвитерианской церкви. В детстве он был, что называется, белой вороной и не ладил с братьями. Из всей семьи только мать понимала его, а теперь она умерла. Когда он вернулся домой хозяйничать на ферме, которая разрослась уже до двухсот двадцати с лишним десятин, на ближних фермах и в соседнем городе Уайнсбурге все посмеивались над тем, что он берется за работу, с которой едва справлялись четверо сильных братьев.

И было над чем посмеяться. По тогдашним понятиям Джесси и на мужчину-то не был похож. Он был маленький, с изящным, женственным телом и по обычаю молодых

священников носил долгополый черный сюртук и черный шнурок-галстук. Увидев его после нескольких лет отсутствия, соседи потешались — и еще больше потешались, увидев, какую жену он привез из города.

Жена Джесси и в самом деле скоро преставилась. Наверное, Джесси сам был в этом виноват. В трудные послевоенные годы ферма на севере Огайо была неподходящим местом для хрупкой женщины, а Катрин Бентли была хрупкой. Джесси обходился с ней сурово, как и со всеми вокруг в те дни. Она пыталась делать ту же работу, что и все соседские женщины, а Джесси ей не препятствовал. Она помогала доить и выполняла часть работы по дому; стелила мужчинам постели, стряпала им еду. Год она работала без выходных, с рассвета до поздней ночи, а потом, родив ребенка, умерла.

Что же до самого Джесси Бентли, он хоть и не отличался крепким сложением, но обладал чем-то таким, что нелегко заморить. Волосы у него были кудрявые, каштановые; его серые глаза иногда глядели прямо и твердо, а иногда неуверенно блуждали. Он был не только тщедушен, но и ростом мал. Рот у него был как у впечатлительного и очень упрямого ребенка. Джесси Бентли был фанатик. Человек, который родился не вовремя и не к месту, и страдал от этого, и причинял страдания другим. Он так и не добился того, чего хотел от жизни, а чего он хотел, он сам не знал. Когда он приехал домой, на ферму Бентли, все там скоро стали его побаиваться, да и жена, которой быть бы такой же близкой ему, как мать, тоже его боялась. К концу второй недели после его приезда старик Том Бентли отдал хозяйство целиком в его руки и стушевался. Стушевались все. Несмотря на молодой возраст и неопытность, Джесси отлично умел подчинять себе души ближних. Он столько страсти вкладывал во все свои дела и речи, что его никто не понимал. Он заставил всех на ферме работать так, как они отродясь не работали, но не было в этой работе веселья. Если дела шли удачно — удачно шли они для Джесси, а вовсе не для подчиненных. Подобно другим сильным людям, которых во множестве породила Америка в этот позднейший период, Джесси был сильным лишь наполовину. Он умел властвовать над другими, но не умел властвовать собой. Вести хозяйство так, как никогда еще не вели, ему было легко. Приехав домой из школы в Кливленде, Джесси отгородился от всех домочадцев и начал строить планы. Он думал о хозяйстве день и ночь, и это принесло ему успех. Другие фермеры слишком много работали и слишком уставали, чтобы думать, а для Джесси думать о ферме и беспрестанно строить планы успешного хозяйствования было даже отдыхом. И отчасти утешало что-то в его страстной душе. Сразу после приезда он распорядился пристроить к старому дому крыло, и в его большой комнате с западной стороны одни окна смотрели на гумно, а другие на поля. У окна он садился думать. Час за часом и день за днем просиживал он, глядя на земли, и обдумывал, какое место он теперь займет в жизни. Страстный огонь в его душе разгорался, и взгляд его становился жестким. Он хотел, чтобы ферма давала столько, сколько не давала до сих пор ни одна ферма в штате, а потом хотел чего-то еще. Вот от этой неопределимой жажды и блуждали его глаза, а сам он перед людьми молчал все больше и больше. Он много бы дал, чтобы обрести покой, и жил в страхе, что покоя-то как раз ему не найти.

Тело Джесси Бентли было полно жизни. В этом маленьком человеке собралась сила многих поколений могучих предков. Необычайно живым он был и в раннем детстве, на ферме, и подростком в школе. В школе он учился и думал о Боге и о Библии всеми силами ума и сердца. С годами, повзрослев и лучше узнав людей, он стал считать себя человеком необыкновенным, выделенным между людьми. Ему ужасно хотелось сделать свою жизнь чем-то очень значительным, и, оглядываясь вокруг и видя, что люди живут, как быдло, он думал, что никогда бы не согласился превратиться в такое же быдло. Поглощенный собой и собственным предназначением, Джесси, как слепец, не замечал того, что его молодая жена выполняла работу сильной женщины даже тогда, когда была на сносях, что в служении ему она себя губила, — но при этом он не был жесток намеренно. Когда старый, искореженный трудом отец отдал ему во владение ферму и, как бы успокоившись, заполз в угол ждать смерти, он только пожал плечами и выбросил старика из головы.

Сидел Джесси у окна, глядел на земли, которые достались ему в наследство, и думал о своих делах. Он слышал, как в конюшне топчутся его лошади, как возится в хлеву его рогатый скот. Видел за полем, как пасется на зеленых холмах другое стадо. Голоса людей — людей, которые работали на него, — доносились до него через окно. Из доильни слышалось ровное плюх-плюх маслобойки, у которой орудовала придурковатая девушка Элиза Стафтон.

Мысленно Джесси уходил к людям ветхозаветных дней, тоже владевшим землей и стадами. Он вспоминал, как Бог спускался с неба и говорил с этими людьми, и ему хотелось, чтобы Бог его тоже заметил и говорил с ним. Им овладевало лихорадочное, мальчишеское нетерпение: каким-нибудь способом достигнуть в своей жизни такого же ореола значительности, какой окружал тех людей. Будучи человеком богомольным, он вслух говорил на эту тему с Богом, и звук собственных слов питал и подогревал его нетерпение.

«Я, человек нового склада, вступил во владение этими полями, объявлял он. — Погляди на меня, Боже, и погляди на моих соседей и на всех людей, что прошли здесь до меня! Боже, сделай меня новым Иессеем, подобно древнему, дабы я правил людьми и рожал сыновей, которые станут правителями!» Разволновавшись от своих речей, Джесси вскакивал на ноги и ходил взад-вперед по комнате. Ему мерещилось, что он живет в древние времена и среди древних народов. Земля, раскинувшаяся перед ним, исполнялась громадного значения; фантазия населяла страну новым племенем людей, произошедших от него самого. Казалось ему, что нынче, как и в те, прежние времена, могут создаваться новые царства и новые побуждения овладевать жизнями людей по воле Божией, возвешенной через избранного слугу. Он жаждал быть таким слугой. «Я пришел на эту землю исполнить Божий труд», — объявлял он громким голосом, и маленькая фигурка его выпрямлялась, и казалось ему, что-то вроде нимба загорается над ним в знак Божьего одобрения.

* * *

Людям более позднего времени будет, пожалуй, трудновато понять Джесси Бентли. За последние пятьдесят лет в жизни нашего народа произошли громадные перемены. Произошла, можно сказать, революция. Наступление промышленного века, сопровождаемое звоном и треском дел, пронзительные крики многомиллионных толп, хлынувших к нам из-за океана, отправление и прибытие поездов, рост городов, постройка междугородных трамвайных линий, которые пронизывают города и бегут по сельской местности, а теперь, в наши дни, нашествие автомобилей — все это внесло потрясающие перемены в жизнь и образ мыслей народа срединной Америки. Книжки, пусть даже скверно придуманные и написанные в спешке наших дней, есть в каждом доме, журналы расходятся в миллионах экземпляров, газеты на каждом шагу. Нынче у фермера, стоящего возле печки в деревенской лавке, голова до отказа забита словами других людей. Газеты и журналы нагроулили его полностью. Многие из прежнего дикого невежества, в котором была и какая-то прекрасная детская невинность, исчезло навсегда. Фермер у печки — брат городского человека, и если вы послушаете его, то найдете, что он говорит так же бойко и бессмысленно, как самый примерный из нас, горожан.

При Джесси Бентли и вообще в сельских районах Среднего Запада после Гражданской войны было не так. Люди слишком тяжело трудились и слишком уставали, чтобы читать. Их не тянуло к напечатанному на бумаге слову. Когда они работали в поле, ими владели смутные, полуоформившиеся мысли. Они верили в Бога и в то, что сила Божия управляет их жизнью. По воскресеньям они собирались в маленьких протестантских церквушках — послушать о Боге и Его делах. Церкви в ту пору были средоточием общественной и умственной жизни. Образ Бога велик был в душах людей.

И вот, от природы наделенный воображением и большой пытливостью ума, Джесси Бентли всем сердцем обратился к Богу. Когда война унесла его братьев, он увидел в этом руку Божию. Когда отец захирел и больше не мог управляться с хозяйством, он и это воспринял как Божие знамение. В городе, получив эту весть, он всю ночь бродил по улицам

и размышлял о ней, и так же с мыслями о Боге бродил он ночами по лесам и по низким холмам, когда вернулся на ферму и начал налаживать там хозяйство.

Он шел, и значение его личности в некоем божественном расписании представлялось ему все более важным. Он сделался алчным и досадовал, что у него только двести двадцать десятин угодий. Став на колени перед угловым столбом изгороди на своем лугу, он направлял голос в сопредельную тишину, поднимал голову и видел, что звезды светят ему.

Однажды вечером, через несколько месяцев после смерти отца, когда жена Катрин с минуты на минуту ожидала родовых мук, Джесси ушел из дома и долго бродил по окрестностям. Ферма Бентли располагалась в маленькой долине Винной речки; Джесси берегом прошел до конца своих угодий и дальше — по полям соседей. По пути долина раздалась вширь, а потом опять сузилась. Перед ним раскинулись огромные просторы полей и лесов. Из-за облака выглянула луна, и он, взойдя на пригорок, сел подумать.

Джесси думал, что ему как истинному рабу Божьему должно принадлежать все пространство, по которому он прошел. Он подумал о покойных братьях и упрекнул их, что они трудились недостаточно и не приобрели больше. Перед ним в лунном свете бежала по камням речка, и он стал думать о людях далекого прошлого, которые подобно ему владели стадами и землями.

Порожденное фантазией чувство — полустрах, полужадность — охватило Джесси Бентли. Он вспомнил, как в древней библейской истории Господь явился другому Иессею² и велел ему послать сына Давида в долину дуба, где Саул и израильское воинство стояли против филистимлян. Ему уже мнилось, что все фермеры Огайо, владеющие землей в долине Винной речки, — филистимляне и враги Богу. «А вдруг, — прошептал он себе, — выйдет из них такой, как Голиаф, филистимлянин из Гефа, и одолеет меня, и отымет мое имущество». И воображение его заполнил тошнотворный страх, тот же, думалось ему, что тяжелым гнетом лежал на сердце Саула, пока не пришел Давид. Вскочив на ноги, он побежал сквозь ночь. Он бежал и зывал к Богу. Его голос разносился над низкими холмами. «Господь Саваоф! — кричал он. — Пошли мне нынче ночью сына от Катрин. Да снизойдет на меня милость Твоя. Пошли мне сына, чтобы звался Давидом и помог мне вырвать наконец все эти земли из рук филистимлян и обратить их на службу Тебе и на постройку царства Твоего на земле».

ЧАСТЬ II

Давид Харди из Уайнсбурга, Огайо, был внуком Джесси Бентли, хозяина ферм. В двенадцать лет он переехал жить в старый дедовский дом. Мать его, Луиза Бентли, родилась в ту ночь, когда Джесси бежал по полям, зывая к Богу, чтобы Он дал ему сына, и до взрослых лет жила на ферме, а потом вышла замуж за молодого уайнсбуржца Джона Харди, впоследствии банкира. Семейная жизнь у них не задалась, и все сходились на том, что виновата тут она. Это была маленькая черноволосая женщина с колючими серыми глазами. С детства она была подвержена припадкам гнева, а когда не гневалась, была молчалива и нелюдима. В Уайнсбурге говорили, что она пьет. Ее муж, банкир, человек положительный и сметливый, приложил немало стараний, чтобы ей жилось хорошо. Когда он начал богатеть, он купил для нее большой кирпичный дом на Вязовой улице в Уайнсбурге и первым в городе завел для своей жены кучера.

Но Луиза не умела жить хорошо. У нее случались припадки полубезумной раздражительности, во время которых она иногда молчала, а иногда шумела и затевала ссоры. В гневе она бранилась и кричала. Она хватала на кухне нож и угрожала убить мужа. Однажды она намеренно подожгла дом и часто целыми днями скрывалась у себя в комнате, никого не желая видеть. Ее жизнь, наполовину затворническая, давала поводы ко всякого

² Библейское имя Иессей по английски произносится как Джесси.

рода толкам. Говорили, будто она принимает наркотики, будто прячется от людей потому, что часто находится под таким сильным воздействием алкоголя, которое невозможно скрыть. Случалось, летом, к концу дня, она выходила из дома и садилась в коляску. Отослав кучера, сама брала в руки вожжи и гнала по улицам во весь опор. Если на пути ей попадался прохожий, она не сворачивала, и напуганный горожанин спасался, как умел. Людям казалось, будто она хочет их задавить. Она проезжала несколько улиц, нахлестывая коней и на всем ходу огибая углы, а потом мчалась за город. На проселочных дорогах, скрывшись от чужих глаз, она пускала коней шагом, и дикое, отчаянное настроение с нее сходило. Она делалась задумчивой и бормотала какие-то слова. Иногда у нее на глазах выступали слезы. А возвратившись в город, она опять бешено гнала коней по тихим улицам. Если бы не влиятельный ее муж, которого почитали в городе, ее не раз бы арестовал начальник городской полиции.

Мальчик Давид Харди рос в доме возле этой женщины, и легко себе представить, что детство ему выпало не слишком радостное. Он был еще мал, чтобы иметь о людях собственное мнение, но порой бывало трудно не иметь весьма определенного мнения о женщине, которая доводилась ему матерью. Давид всегда был тихим, послушным мальчиком, и долгое время жители Уайнсбурга считали его туповатым. Глаза у него были карие, и в детстве он имел привычку подолгу смотреть на людей и предметы как бы не видя того, на что смотрит. Услышав грубое высказывание о матери или нечаянно подслушав, как она поносит отца, он пугался и бежал прятаться. Иногда он не мог найти убежища и совсем терялся. Он поворачивался лицом к дереву, а дома — к стене, зажимал глаза и старался ни о чем не думать. Он имел привычку разговаривать с собой, и с ранних лет им часто овладевал дух тихой печали.

Иногда он гостил у деда, на ферме Бентли; там он бывал совершенно доволен и счастлив. Часто ему хотелось больше не возвращаться в город, и однажды, когда его привезли домой после долгой побывки у деда, произошло событие, которое надолго оставило след в его душе.

Давид вернулся в город с одним из работников. Тот куда-то спешил по своим делам и оставил мальчика в начале улицы, на которой стоял дом Харди. Осенний день смеркался, и небо было пасмурно. Что-то произошло с Давидом. Идти туда, где жили мать с отцом, было выше его сил, и вдруг ему пришло в голову бежать из дому. Он решил вернуться на ферму, к деду, но заблудился, испугался и с плачем много часов плутал по проселочным дорогам. Пошел дождь, молния сверкнула в небе. Воображение у мальчика разыгралось, и ему мерещилось, будто он видит и слышит в темноте что-то непонятное. Он вдруг вообразил, будто бредет и бежит в каком-то ужасном пустом пространстве, где никто прежде не бывал. Тьма вокруг казалась беспредельной. Шум ветра в деревьях нагонял ужас. Когда впереди на дороге возникла упряжка, он испугался и перелез через изгородь. И бежал полем, а потом очутился на другой дороге и, став на колени, потрогал пальцами мягкую землю. Если бы не образ деда — а мальчик боялся, что уже никогда не найдет его в темноте, мир вокруг был бы совершенной пустыней. Его крики услышал фермер, пешком возвращавшийся из города, и, когда мальчика доставили в отцовский дом, он не понимал, что с ним происходит, — до того он был взволнован и утомлен.

Отец Давида узнал об исчезновении сына случайно. Он встретил на улице того работника с фермы Бентли и выяснил, что сын вернулся в город. Но домой мальчик не явился, поэтому подняли тревогу, и Джон Харди с несколькими уайнсбуржцами начал искать его за городом. По улицам Уайнсбурга распространилось известие, что Давида похитили. Когда его доставили домой, света в комнатах не было, но появилась мать и с жаром стиснула его в объятиях. Давиду показалось, что она внезапно стала другой женщиной. Он не мог поверить в такое прекрасное превращение. Собственными руками она выкупала усталое детское тело и приготовила сыну еду. Она не дала ему лечь в постель, а вместо этого, когда он надел ночную рубашку, задула свет, села в кресло и взяла его на руки. Час просидела женщина в темноте, держа своего мальчика. И все время тихо приговаривала.

Давид не мог понять, отчего она так переменилась. Ее обычно недовольное лицо показалось ему самым мирным и самым милым из всего, что он видел в жизни. Он стал плакать, а она только крепче и крепче его обнимала. Голос ее не смолкал и не смолкал. Он не был резким и визгливым, как в разговорах с мужем, а шелестел, как дождь в деревьях. Потом стали приходить мужчины и докладывать, что не нашли его, а она велела ему прятаться и не шуметь, пока она их не выпроводит. Он думал, что это у них с ним такая игра, и радостно смеялся. У него возникла мысль, что заблудиться и хлебнуть страха в темноте — вовсе не велика важность. Он подумал, что тысячу раз согласился бы перетерпеть такой страх — лишь бы наверняка найти в конце долгого черного пути такую милую женщину, какой вдруг стала мать.

* * *

В последние годы детства Давид лишь изредка виделся с матерью, и для него она была просто женщиной, с которой он когда-то жил. И все же ее образ не выходил у него из головы, а с годами делался четче. В двенадцать лет он переехал жить на ферму Бентли. Старик Джесси явился в город и потребовал напрямик, чтобы мальчика отдали ему на попечение. Старик был взволнован и полон решимости добиться своего. Он потолковал с Джоном Харди в конторе Уайнсбургского сберегательного банка, после чего они вдвоем отправились в дом на Вязовой улице, потолковать с Луизой. Оба ожидали, что она заартачится, но ошиблись. Она вела себя смирно, и, когда Джесси объяснил задачу своего приезда и стал распространяться о преимуществах жизни на свежем воздухе и в спокойной обстановке старой фермы, она согласно кивала головой. «В обстановке, не отягощенной моим присутствием, — язвительно заметила она. Плечи у нее передернулись, и казалось, что она опять впадет в гнев. — Для мальчика — подходящее место, а для меня оно не было подходящим, — продолжала она. — Я у вас там была лишняя, и для меня, конечно, воздух вашего дома был вреден. Для меня он был отравой, но с ним-то будет иначе».

Луиза повернулась и ушла из комнаты, оставив мужчин в неловком молчании. Как часто бывало, она на несколько дней закрылась в своей комнате. Она не вышла даже тогда, когда вещи сына были собраны и его увезли. Потеря сына перевернула ее жизнь, и у нее как будто убавилось охоты ссориться с мужем. Джон Харди решил, что все обернулось как нельзя лучше.

Итак, мальчик Давид переехал к Джесси на ферму Бентли. Две сестры старого фермера еще были живы и жили в доме. Они боялись Джесси и при нем редко разговаривали. Одна из них, в молодости славившаяся огненно-рыжими волосами, была богато наделена материнским чувством и стала покровительницей мальчика. Каждый вечер, перед сном, она приходила к нему и сидела на полу, пока он не засыпал. Давид задремывал: тогда она смелела и шептала ему всякие слова — потом он думал, что они ему приснились.

Ее мягкий, тихий голос называл мальчика ласкательными именами, а ему снилось, что это мать пришла, что она переменилась, что теперь она всегда такая, как в тот раз, когда он сбежал. Он тоже смелел, протягивал руку и гладил сидящую женщину по лицу, а она была счастлива до самозабвения. Все в доме стали счастливы с тех пор, как приехал мальчик. То жесткое, непреклонное в Джесси Бентли, что повергало домочадцев в робость и немоту и нисколько не смягчилось от появления девочки Луизы, было будто сметено появлением мальчика. Словно Бог смилостивился и послал этому человеку сына.

И этот человек, который объявлял себя единственным истинным рабом Божиим в долине Винной речки и желал, чтобы в знак одобрения Бог наградил его сыном от Катрин, стал думать, что молитвы его наконец услышаны. Хотя в ту пору ему было только пятьдесят пять лет, вечные размышления и расчеты состарили его, и выглядел он как семидесятилетний. Старания его захватить побольше земли увенчались успехом, чужих ферм в долине уже осталось мало, и все-таки, пока не приехал Давид, он был человеком жестоко разочарованным.

Две силы воздействовали на душу Джесси Бентли, и всю жизнь она была полем битвы этих сил. Первая шла от прошлого. Он хотел быть человеком Божиим и вождем над Божиими людьми. Ночные блуждания по полям и лесам сблизили его с природой, и этот глубоко религиозный человек живо ощущал тягу стихий. Когда вместо сына Катрин родила ему дочь, он был разочарован; новость обрушилась на него как удар невидимой руки, и удар этот несколько окоротил его самомнение. Он все равно верил, что Бог в любую минуту может явить себя из ветров и облаков, но уже не требовал для себя такого признания. Нет, теперь он молил о нем. Временами он вообще начинал сомневаться и думал, что Бог покинул мир. Он сожалел, что судьбой не дано ему жить в более простые и ласковые времена, когда по мановению какого-нибудь чудного облака в небе люди оставляли свои земли и дома и устремлялись в пустыню основывать новые роды. Работая денно и нощно, чтобы сделать свои фермы более производительными и подгрести под себя побольше земель, он, однако, сожалел, что не может употребить свою неумную энергию на постройку храмов, истребление неверных и вообще на труд прославления имени Господня на земле.

Вот чего жаждал Джесси, но он жаждал и кое-чего еще. Он вырос и возмужал в Америке в годы после Гражданской войны и, как всякий человек своего времени, был затронут глубинными течениями, действовавшими в стране в ту пору, когда рождался современный промышленный строй. Он стал покупать машины, которые позволяли ему выполнять хозяйственные работы при меньшем числе батраков, и думал иногда, что, будь он помоложе, он отказался бы от фермы совсем, а завел бы в Уайнсбурге фабрику для изготовления машин. У Джесси появилась привычка читать газеты и журналы. Он изобрел машину для натягивания проволочных изгородей. Он смутно ощущал, что дух древних времен и мест, который он пестовал в своем уме, неблизок и чужд тому, что всходило в умах других людей. Начало самого материалистического века в мировой истории, когда в войнах будут обходиться без патриотизма, когда люди забудут о Боге и станут считаться только с моральными установлениями, когда воля к власти заменит служение по доброй воле и красота будет едва ли не забыта в страшном безудержном порыве человечества к приобретению имущества, — уже давало себя чувствовать Джесси Божиему человеку, так же как прочим людям. Алчное в нем требовало наживать деньги быстрее, чем допускает земледелие. Не раз приезжал он в Уайнсбург потолковать об этом с зятем Джоном Харди. «Ты банкир, и у тебя есть возможности, каких у меня не было, — говорил он, блестя глазами. — Все время об этом думаю. Большие дела будут делаться в нашей стране, и деньги повалят такие, какие мне и не снились. Не проморгай. Хотел бы я быть моложе и обладать твоими возможностями». Джесси расхаживал по кабинету и говорил, все больше возбуждаясь. Когда-то его чуть не разбил паралич, и с тех пор он немного ослаб на левую сторону. При разговоре левое веко у него подергивалось. После, когда он ехал домой, и опускалась ночь, и зажигались звезды, ему бывало трудно вернуть прежнее ощущение близкого, своего, Бога, который живет в небе над головой и может в любую минуту протянуть руку, тронуть его за плечо и назначить на какое-нибудь геройское дело. Мысль его все оседала на том, о чем он читал в газетах и журналах, — на состояниях, нажитых почти шутя толковыми людьми, которые продают и покупают. Приезд мальчика Давида с новой силой всколыхнул в нем прежнюю веру, и ему стало казаться, что Бог наконец-то взглянул на него благосклонно.

Что же до мальчика, то на ферме жизнь открылась ему тысячей новых и восхитительных граней. Тихая душа его расправилась в ответ на доброе отношение всех домашних, и он перестал робеть и стесняться людей, как раньше. Вечером, когда он ложился спать после долгого дня приключений на конюшнях, в полях или в поездках по фермам с дедом, ему хотелось обнять каждого человека в доме. Если Ширли Бентли — женщина, которая приходила каждый вечер посидеть на полу возле его кровати, — не появлялась сразу, он шел к лестнице и кричал вниз, и его молодой голос разносился по узким коридорам, где так долго в обычае была тишина. Проснувшись утром, он не сразу вставал с постели и наслаждался звуками, которые долетали через окно. Он ежился, вспоминая жизнь

в уайнсбургском доме и сердитый голос матери, от которого всегда бросало в дрожь. Тут, в деревне, все звуки были приятными звуками. Он просыпался на заре, просыпался и скотный двор за домом. Начинали шевелиться люди в доме. Придурковатую девушку Элизу Стафтон тыкал под ребра работник, а она громко хихикала; мычала корова на дальнем лугу, ей отзывался скот в хлевах; вот работник прикрикнул на лошадь, которую чистит перед воротами конюшни. Давид выскакивал из постели и подбегал к окну. Людское шевеление вокруг будоражило его, и он думал: что сейчас делает мать в городском доме?

Из окон своей комнаты он не видел скотный двор, где все уже собрались на утренние работы, но он слышал голоса и лошадиное ржание. Кто-то там смеялся, он смеялся тоже. Высунувшись из окна, Давид смотрел в сад, где разгуливала свинья во главе своей мелюзги. Каждое утро он считал поросят. «Четыре, пять, шесть, семь», — медленно говорил он и, посплюнув палец, делал отметки на подоконнике. Он бежал надевать штаны и рубашку. Ему не терпелось выскочить поскорей на двор. Каждое утро он свергался по лестнице со страшным шумом, и домоправительница тетя Колли жаловалась, что он хочет весь дом разворотить. Он пробегал по длинному старому дому, оглушительно хлопая дверьми, выскакивал на скотный двор и озирался в изумленном ожидании. В таком месте, казалось ему, ночью должно происходить что-то потрясающее. Работники глядели на него и смеялись. Генри Стрейдер, старик, работавший на ферме с тех времен, когда она перешла к Джесси, и ни разу на памяти людей не пошутивший, каждое утро выкрикивал одну и ту же шутку. Давида она так потешала, что он смеялся и хлопал в ладоши. «А ну-ка, поди сюда, погляди, — кричал старик. — У дедкиной белой кобылы черный чулок порвался!»

Все долгое лето, изо дня в день, Джесси Бентли ездил с фермы на ферму, туда и сюда по долине Винной речки, и с ним — внук. Ездили они в покойном старом фаэтоне, запряженном белой лошадью. Старик чесал в редкой белой бороде и рассуждал вслух о своих планах увеличить урожайность полей, которые они осмотрели, и о роли Бога во всех человеческих планах. Иногда он глядел на Давида и радостно улыбался, а потом словно надолго забывал о его существовании. С каждым днем все чаще и чаще к нему возвращались мечты, которые владели им в ту пору, когда Джесси приехал из города жить на земле. В один из таких дней он ошеломил Давида, позволив этим мечтам взять над собой полную власть. На глазах у мальчика он совершил богослужение и вызвал несчастный случай, который чуть не сломал их крепнущую дружбу.

Джесси с внуком ехали по отдаленному участку в долине, за несколько миль от дома. К дороге подступил лес, и сквозь лес, петляя меж камней, бежала к большой реке Винная речка. Чуть ли не с утра Джесси был в задумчивом настроении и вдруг заговорил. Мысли его вернулись к той ночи, когда он испугался, что явится великан и ограбит его, отнимет все имущество, и опять, как в ту ночь, когда он бежал по полям, взывая о сыне, он пришел в возбуждение, граничащее с помешательством. Он остановил лошадь, вылез из фаэтона и велел вылезти Давиду. Они перебрались через изгородь и пошли берегом речки.

Мальчик не обращал внимания на воркотню деда и бежал около него, гадая, что будет дальше. Выскочил кролик и побежал в лес — Давид захлопал в ладоши и запрыгал от радости. Он глядел на высокие деревья и жалел, что он не зверек и не может лазать в вышине без страха. Он нагнулся, подобрал камушек и кинул над головой деда в кусты. «Просыпайся, зверек. Вставай и лезь на макушку дерева», — закричал он пронзительным голосом.

Джесси Бентли шел под деревьями потупясь, со смятением в мыслях. Важность деда подействовала на мальчика, он скоро притих и немного встревожился. Старику взбрело в голову, что теперь-то он сможет добиться от Бога слова или небесного знамения, что, если мальчик и мужчина станут на колени в каком-нибудь глухом уголке леса, тогда почти наверняка произойдет чудо, которого он ждал. «Как раз в таком месте пас овец тот Давид, когда пришел его отец и велел ему идти к Саулу», — пробормотал он.

Взявши довольно грубо мальчика за плечо, он перелез через упавшее дерево, а потом, выйдя на прогалину, повалился на колени и стал молиться громким голосом.

Ужас, не изведанный прежде, овладел Давидом. Пригнувшись под деревом, он

наблюдал за стариком, и у него самого подгибались коленки. Ему показалось, что тут с ним не только дед, а кто-то еще, кто может его обидеть, кто-то не добрый, а жестокий и страшный. Он заплакал и, подобрав с земли палочку, крепко сжал ее в кулаке. Джесси Бентли, поглощенный своей мыслью, вдруг встал и подошел к нему, и мальчик до того ужаснулся, что задрожал всем телом. На лес как будто опустилась тяжелая тишина, и внезапно из тишины возник грубый и настойчивый стариковский голос. Вцепившись в плечи мальчика, Джесси поднял лицо к небу и закричал. Вся левая сторона лица у него задергалась, и рука на плече мальчика задергалась тоже. «Боже, подай мне знак, — закричал он. — Вот я стою с мальчиком Давидом. Сойди ко мне с неба, яви Себя мне!»

С испуганным криком Давид повернулся и, вырвавшись из рук, которые его держали, бросился в чащу. Он не верил, что это дед сейчас запрокинул лицо и грубым голосом кричит в небо. Этот человек был не похож на деда. Произошло что-то ужасное и непонятное, решил мальчик, — новый, нехороший человек каким-то волшебным способом влез в тело доброго дедушки, захватил его. Давид бежал и бежал вниз по склону и плакал на бегу. Он споткнулся о корни дерева, упал и ушибся головой, но встал и хотел бежать дальше. Голове было так больно, что он снова упал и остался лежать, но ужас оставил его лишь после того, как Джесси перенес его в фэзтон и он, очнувшись, обнаружил, что рука деда гладит его по лицу. «Увези меня. Там в лесу страшный человек», твердо сказал он, между тем как Джесси глядел в другую сторону, поверх древесных крон, и губы его опять жаловались Богу. «Боже, чем я виноват, что ты меня не одобряешь?» — снова и снова повторял он эти слова тихим шепотом, гоня лошадь по дороге и нежно прижимая к плечу разбитую, окровавленную голову мальчика.

ЧАСТЬ III. СДАЧА

История Луизы Бентли, которая стала женой Джона Харди и жила с ним в кирпичном доме на Вязовой улице в Уайнсбурге, — это история непонимания.

Многое надо сделать, чтобы такие женщины, как Луиза, стали понятны и чтобы житье их стало жизнью. Вдумчивые надо написать книги и жить вдумчиво людям около них.

Родившись у хрупкой, замаянной матери и порывистого, сурового, наделенного воображением отца, который неблагосклонно отнесся к ее появлению на свет, Луиза с детства была невротатка — из породы тех непомерно чувствительных женщин, которых в изобилии плодит наш промышленный век.

Детские годы ее прошли на ферме Бентли: тихая невеселая девочка больше всего на свете хотела любви — и не получала ее. Пятнадцати лет она переехала в Уайнсбург, в семью Альберта Харди, который держал торговлю колясками и телегами и состоял в городском совете просвещения.

Луиза переехала в город, чтобы учиться в Уайнсбургской средней школе, и стала жить в семье Харди, поскольку Альберт и Джесси были друзьями.

Харди, торговец экипажами в Уайнсбурге, подобно тысячам своих современников, был энтузиастом просвещения. Он выбился в люди, не причастившись к книжной науке, но был убежден, что, если бы читал книги, его жизнь сложилась бы удачнее. На эту тему он беседовал с каждым, кто входил в его магазин, а домашних — тех просто в отчаяние приводила эта бесконечная песня.

Было у него две дочери и сын, Джон Харди, и дочери не раз угрожали бросить школу. Они из принципа занимались ровно столько, сколько необходимо было, чтобы избежать наказания. «Ненавижу книжки и всех, кто любит книжки, ненавижу», — с жаром заявляла младшая, Гарриет.

В Уайнсбурге, как и на ферме, Луиза не была счастлива. Годами мечтала она о том времени, когда сможет вырваться в мир, и на переезд свой в дом Харди смотрела как на большой шаг к свободе. Когда она думала о будущем, ей всегда представлялось, что город — это само веселье и жизнь, что и мужчины, и женщины там должны быть счастливы и

свободны, а дружба и нежность достаются там так же легко, как щеке — дуновение ветра. Из немного и безрадостного отцовского дома она мечтала окунуться в атмосферу тепла, где бьется жизнь и действительность. И в доме Харди Луиза, наверное, нашла бы кое-что из того, о чем тосковала, если бы сразу по приезде в город не совершила одну ошибку.

Обе девочки Харди, Мери и Гарриет, невзлюбили Луизу за ее прилежание. Она приехала в самый день начала занятий и не знала о том, как они относятся к школе. Она была застенчива и за первый месяц ни с кем не познакомилась. Каждую пятницу после уроков в Уайнсбург приезжал работник с фермы и увозил ее на выходные дни домой, так что субботний день она проводила не с городскими. От застенчивости и одиночества она занималась непрерывно. Мери и Гарриет решили, что усердствует она в пику им. Старательная Луиза рвалась ответить на каждый вопрос, заданный классу. Она прыгала на своем месте, глаза у нее горели. И, ответив на какой-нибудь вопрос, перед которым весь класс пасовал, она радостно улыбалась. «Видите, ведь я за вас старалась, — словно говорили ее глаза. — Вы можете не беспокоиться. Я отвечу на все вопросы. Пока я тут, всему классу будет легко».

Вечером, после ужина в доме Харди, Альберт Харди начинал перевозносить Луизу. Один из учителей отозвался о ней с похвалой, и Альберт ликовал. «Что же я опять слышу? — начинал он, строго глядя на дочерей, а потом с улыбкой оборачивался к Луизе. — Еще один учитель сказал мне об успехах Луизы. Все в Уайнсбурге говорят, какая она умница. Мне стыдно, что этого не говорят о моих родных дочерях». Поднявшись, купец расхаживал по комнате и закуривал вечернюю сигару.

Две дочки переглядывались и устало качали головами. Видя их равнодушие, отец сердился. «Слышите, вам обеим не мешало бы об этом подумать, — кричал он, негодуя глядя на них. — Большие перемены настают в Америке, и в учении единственная надежда грядущих поколений. Луиза — дочь богатого человека, а не считает зазорным учиться. Это вам должно быть стыдно — когда перед вами такой пример».

Купец снимал шляпу с крючка у двери и уходил на весь вечер. В дверях он сердито оборачивался. Вид у него бывал такой свирепый, что Луиза от испуга убегала к себе наверх. А дочери уже болтали о чем-то своем. «Да послушайте вы меня, — ревел купец. — У вас мозги ленивые. Равнодушие к учению вас портит. Ничего из вас не выйдет. Попомните мои слова: Луиза вас так обскочет, что вам вовек ее не догнать».

Огорченный отец выходил из дома, дрожа от гнева. Он шел, ворча и ругаясь, но по дороге до Главной улицы успевал остыть. Он останавливался поговорить с другим купцом или приезжим фермером о погоде или урожае и вовсе забывал о дочках, а если и думал — лишь пожимал плечами. «А что там девчонки есть девчонки», — философически бормотал он.

Когда Луиза спускалась в комнату, где сидели сестры, они с ней не желали водиться. Однажды вечером после полутора с лишним месяцев житья в доме, убитая неизменной холодностью, с которой ее встречали, Луиза расплакалась. «Перестань хныкать, ступай в свою комнату к своим книжкам», язвительно сказала Мери Харди.

* * *

Комнату Луиза занимала на втором этаже, с окном в сад. В комнате была печь, и каждый вечер молодой Джон Харди приносил охапку дров и сваливал в ящик у стены. На втором месяце пребывания у Харди Луиза оставила всякую надежду подружиться с девочками и сразу после ужина уходила к себе.

Теперь она тешилась мыслью подружиться с Джоном Харди. Когда он приходил к ней с дровами, она притворялась, будто поглощена уроками, а сама жадно за ним наблюдала. Когда он клал дрова в ящик и поворачивался к двери, она опускала голову и краснела. Она пыталась заговорить, но сказать ничего не могла и после его ухода злилась на себя за глупость.

Умом деревенской девочки безраздельно завладела мысль сблизиться с молодым человеком. В нем она надеялась найти то, что всю жизнь искала в людях. Ей казалось, что между нею и всеми остальными людьми на свете возведена стена, что она живет на самой границе какого-то внутреннего теплого круга жизни, вполне открытого и понятного другим. У нее возникла навязчивая мысль, что одного лишь отважного поступка с ее стороны достаточно, чтобы все ее отношения с людьми стали совершенно другими, и что через такой поступок можно войти в другую жизнь — какходишь в комнату, распахнув двери. Эта мысль преследовала ее днем и ночью, и, хотя в том, чего она так напряженно желала, были и теплота, и близость, Луиза еще никак не связывала это с полом. Желание еще не настолько определилось: Джон Харди занимал ее мысли просто потому, что он был под боком и, в отличие от сестер, не питал к ней неприязни.

Сестры Харди, Мери и Гарриет, были старше Луизы. В знании определенных сторон жизни они были на много лет старше. Жили они так же, как все молодые женщины в городках Среднего Запада. В те дни молодые женщины не уезжали из наших городов в восточные колледжи, и понятия касательно общественных классов еще только-только возникали. Дочь рабочего занимала примерно такое же общественное положение, как дочь фермера или купца, и праздных слоев не существовало. Девушка была либо «скромная», либо «нескромная». Если скромная — то у нее был молодой человек, который навещал ее вечерами по воскресеньям и средам. Иногда она с молодым человеком ходила на танцы или на церковное собрание. Иногда принимала его у себя дома, и для этой цели в ее распоряжение предоставлялась гостиная. Никто туда не вторгался. Парочка часами просиживала за закрытыми дверьми. Случалось, свет бывал повернут, и молодой человек с женщиной обнимались. Щеки горели, волосы приходили в беспорядок. По прошествии года или двух, если влечение в них делалось достаточно сильным и настойчивым, они женились.

Однажды вечером, в первую ее уайнсбургскую зиму, с Луизой произошел случай, после которого ей еще сильнее захотелось сломать стену между собой и Джоном Харди. Дело было в среду, и сразу после ужина Альберт Харди надел шляпу и ушел. Молодой Джон принес Луизе дрова и сложил в ящик. «А много вы занимаетесь, правда?» — смущенно сказал он и ушел прежде, чем она ответила.

Луиза услышала, что он вышел из дому, и ей до безумия захотелось побежать за ним. Она отворила окно, высунулась и тихо позвала: «Джон, милый Джон, вернитесь, не уходите». Ночь была пасмурная, и Луиза ничего не увидела в темноте, но ей померещилось, будто она слышит слабый осторожный звук, как если бы кто-то шел на цыпочках между деревьями сада. Она испугалась и быстро закрыла окно. Час ходила она по комнате, дрожа от волнения, и, когда ждать не стало сил, прокралась в коридор и спустилась вниз, в комнатку наподобие чулана, примыкавшую к гостиной.

Луиза решила совершить отважный поступок, вокруг которого уже столько недель вертелись ее мысли. Она была убеждена, что Джон Харди спрятался под ее окном в саду, и решила найти его и сказать ему, что она хочет, чтобы он подошел к ней, обнял ее, поведал ей свои мысли и мечты и послушал бы о ее мечтах и мыслях. «В темноте говорить будет легче», — прошептала она себе, на шаривая в комнате дверь.

И тут вдруг Луиза сообразила, что она не одна в доме. За дверью в гостиную послышался тихий мужской голос, и дверь отворилась. Луиза едва успела юркнуть в углубление под лестницей, как в темную комнатку со своим молодым человеком вошла Мери Харди.

Луиза час сидела в темноте на полу и слушала. С помощью молодого человека, который пришел провести с ней вечер, Мери Харди без слов преподала деревенской девушке знания о мужчине и женщине. Луиза низко опустила голову, сжалась в комок и не шевелилась. Ей казалось, что по какой-то непонятной прихоти богов великий подарок достался Мери Харди, и она не понимала решительных протестов более взрослой женщины.

Молодой человек обнял Мери Харди и стал ее целовать. Когда она со смехом отбивалась, он только крепче обнимал ее. Состязание это продолжалось целый час, а потом

они вернулись в гостиную, и Луиза убежала наверх. «Надеюсь, вы там не очень шумели. Нельзя отвлекать нашу мышку от занятий», — эти слова Гарриет, обращенные к Мери, она слышала уже в коридоре, стоя перед своей дверью.

Луиза написала записку Джону Харди и той же ночью, когда все в доме спали, прокралась вниз и сунула ему под дверь. Она боялась, что если не сделает этого сразу, то после у нее не хватит смелости. В записке она попыталась выразить вполне ясно, чего она хочет. «Я хочу, чтобы меня кто-то любил, и сама хочу любить кого-нибудь», — написала она. — Если этот человек — вы, то приходите ночью в сад и пошумите под моим окном. Мне легко будет спуститься по сараю и выйти к вам. Я думаю об этом все время, так что если вы собираетесь прийти, то приходите поскорее».

Луиза долго не знала, каков будет результат ее дерзкой попытки добыть себе возлюбленного. В каком-то смысле она не знала еще, хочется ей, чтобы он пришел или нет. То ей казалось, что если тебя крепко обнимают и целуют в этом и есть весь секрет жизни; то на нее нападало другое настроение, и она страшно пугалась. Извечное женское желание, чтобы ей владели, овладело Луизой, но жизнь она представляла себе так смутно, что думала, будто удовлетворится одним лишь прикосновением руки Джона Харди к ее руке. Она спрашивала себя, поймет ли он это. На другой день, за столом, когда Альберт Харди рассуждал, а дочери его перешептывались и смеялись, она старалась не взглянуть лишний раз на Джона и при первой же возможности убежала к себе. Вечером она вышла из дома, переждать, пока он принесет дрова в ее комнату. Несколько вечеров она напряженно прислушивалась, но, так и не услышав зов из темного сада, пришла в отчаяние и решила, что ей не по силам пробиться сквозь стену, отгородившую ее от радостей жизни.

А потом, вечером в понедельник, недели через две или три после записки, Джон Харди пришел за ней. Луиза уже совсем смирилась с мыслью, что он не придет, и поэтому долго не обращала внимания на зов из сада.

В прошлую пятницу вечером, уезжая с работником на выходной к отцу, она по внезапному побуждению совершила поступок, который ее саму изумил, и теперь, когда снизу, из темноты, ее тихо и настойчиво звал по имени Джон Харди, она расхаживала по комнате и недоумевала, что же это побудило ее поступить так нелепо.

Работник, черноволосый курчавый парень, в ту пятницу припоздал, и домой они ехали в потемках. Луиза, чьи мысли были заняты Джоном Харди, пробовала с ним заговорить, но деревенский малый стеснялся и молчал. Мысленно она начала озирать свое одинокое детство и с внезапной болью вспомнила о том, что теперь ее одиночество стало другим, более острым. «Всех ненавижу, — вдруг крикнула она, а затем разразилась тирадой, которая перепугала ее возницу. — Ненавижу отца и старика Харди, — с яростью объявила она. — Хожу учиться в городскую школу, а школу тоже ненавижу».

Еще больше напугала она работника, когда повернулась и прижалась щекой к его плечу. У нее была смутная надежда, что он, как тот молодой человек, который стоял в темноте с Мери, тоже обнимет ее и поцелует, но деревенский малый оробел пуще прежнего. Он хлестнул кнутом лошадь и стал свистеть. «Дорога-то ухабистая, а?» — сказал он громко. Луиза так рассердилась, что сорвала с него шапку и бросила на дорогу. Он выскочил из коляски, чтобы подобрать ее, а Луиза уехала, и ему пришлось идти пешком весь остаток пути до фермы.

Луиза Бентли стала любовницей Джона Харди. Хотела она не этого, но именно в этом смысле он истолковал ее предложение, а сама она так стремилась достичь чего-то другого, что не стала сопротивляться. Через несколько месяцев у них обоих зародилось опасение, что она станет матерью, и однажды вечером они отправились в центр округа и поженились. Несколько месяцев они прожили в доме Харди, а потом обзавелись собственным. Весь первый год Луиза пыталась объяснить мужу, что за смутная, неопределенная жажда породила ту записку, но так и осталась неутоленной. Снова и снова пробовала она приласкаться к нему и заговорить об этом, но всякий раз напрасно. Преисполненный собственных понятий о любви между мужчиной и женщиной, он ее не слушал, а целовал в

губы. Это ее так сбивало, что потом ей даже не хотелось, чтобы ее целовали. Чего ей хотелось, она не знала.

Потом выяснилось, что тревога, загнавшая их в брак, была необоснованной, и Луиза рассердилась, стала говорить мужу горькие, обидные слова. Позже, когда у нее родился сын, Давид, она не могла кормить его грудью и не знала, нужен он ей или нет. Иногда она проводила с ребенком целый день, расхаживая по комнате и время от времени подкрадываясь к нему, чтобы нежно потрогать его руками, а в другие дни не желала его видеть и быть рядом с этой человеческой крошкой, которая завелась в доме. Если Джон Харди упрекал ее в жестокости, она смеялась. «Этот ребенок — мужчина, он все равно получит то, что ему надо, — резко отвечала она. — Будь это девочка, я бы не знала что для нее делала».

ЧАСТЬ IV. УЖАС

Когда Давид Харди был рослым мальчиком пятнадцати лет, с ним, как и с его матерью, произошло приключение, которое повернуло ход его жизни и кинуло его из тихого уголка в мир. Скорлупа его жизненных обстоятельств лопнула, и он был вынужден пуститься в путь. Он покинул Уайнсбург, и никто его там больше не видел. После его исчезновения и мать, и дед его умерли, а отец очень разбогател. Он потратил много денег на розыски сына, но это уже другая история.

Было это поздней осенью необычного года на фермах Бентли. Урожай повсюду удался на славу, весной Джесси прикупил длинную полосу черной болотной земли в долине Винной речки. Взял он ее задешево, но много вложил в ее улучшение. Пришлось рыть длинные канавы, укладывать тысячи дренажных труб. Соседи-фермеры головой качали на такую расточительность. Кое-кто из них смеялся и надеялся, что Джесси понесет от этой затеи тяжелый убыток, но старик молча продолжал работы и в разговоры не вступал.

Когда землю осушили, он посеял на ней капусту и лук, и соседи опять смеялись. Урожай, однако, получился громадный и пошел по высоким ценам. За один год Джесси выручил столько, что покрыл все расходы на подготовку земли, а на излишки купил еще две фермы. Он был в восторге и не мог скрыть свою радость. Впервые за все годы, что он владел фермами, Джесси ходил среди своих людей с улыбкой на лице.

Чтобы удешевить труд, Джесси купил множество машин и вдобавок — все оставшиеся десятины черной плодородной поймы. Однажды он поехал в Уайнсбург и купил Давиду велосипед и костюм, а обеим сестрам дал денег, чтобы они посетили религиозный съезд в Кливленде.

Осенью этого года, когда подморозило и леса по Винной речке стали коричнево-золотыми, Давид все свободное от школы время проводил на воздухе. Один или с другими ребятами он каждый день ходил в лес за орехами. Деревенские ребята — в большинстве сыновья работников на фермах Бентли охотились на кроликов и белок с ружьями, но с ними Давид не ходил. Он сделал себе метательное орудие — рогатку и отправлялся в одиночку собирать орехи. Пока он бродил, у него возникали мысли. Он понимал, что он почти мужчина, и раздумывал, чем будет заниматься в жизни, но, так ни до чего и не дойдя, мысли исчезали, и он снова становился мальчишкой. Однажды он убил белку, которая сидела в нижних ветвях и верещала ему. С белкой в руке он помчался домой. Одна из сестер Бентли зажарила зверька, и он съел его с большим аппетитом. Шкурку он распылил на дощечке, а дощечку вывесил на бечевке за окно своей спальни.

Это дало его мыслям новое направление. Теперь он непременно брал в лес рогатку и часами стрелял по воображаемым зверям, прятавшимся в коричневой листве деревьев. Думать о том, что скоро он станет взрослым, Давид перестал, он довольствовался своим мальчишеством и мальчишескими порывами.

Раз субботним утром, когда он собрался в лес, с рогаткой в кармане и мешком для орехов через плечо, его остановил дед. У деда был тот напряженный важный взгляд, который

всегда немного пугал Давида. В такие минуты глаза Джесси смотрели не прямо вперед, а блуждали и, казалось, не смотрели никуда. словно какая-то невидимая завеса опускалась между стариком и остальным миром. «Надо, чтобы ты пошел со мной, — сказал он кратко, направляя взгляд в небо над головой мальчика. — У нас сегодня важное дело. Мешок для орехов можешь взять, если хочешь. Это не имеет значения, а нам все равно — в лес».

Джесси и Давид выехали с фермы Бентли в старом фаэтоне, запряженном белой лошастью. Они долго ехали в молчании, а потом остановились на краю луга, где паслось стадо овец. Среди овец гулял ягненок, родившийся не в сезон; Давид с дедом поймали его и спутали так туго, что он стал похож на белый мячик. Когда они тронулись дальше, дед разрешил Давиду держать его на руках. «Я увидел его вчера, и он навел меня на мысль о том, что я давно хотел сделать», — сказал Джесси и опять поглядел поверх головы мальчика блуждающим неопределенным взглядом.

После радости по поводу хорошего урожая фермером овладело другое настроение. Долгое время он ходил в весьма смиренном и богомольном расположении духа. Опять он гулял один по ночам, думая о Боге, и опять во время этих прогулок сопоставлял свою личность с лицами минувших дней. Под звездным небом он становился коленями на мокрую траву и возвышал в молитве голос. Теперь он решил, подобно тем людям, рассказами о которых полна Библия, принести Богу жертву. «Мне даны были обильные урожаи, и так же Бог послал мне мальчика по имени Давид, — шептал он себе. — Наверное, я должен был давно это сделать». Он жалел, что эта мысль не пришла ему в голову раньше, до того, как родилась дочь Луиза, и думал, что, если он теперь сложит жертвенный костер из сучьев в укромном уголке леса и принесет ягненка во всесожжение, Бог непременно явится ему и что-то возвестит.

Думая об этом, он все больше и больше думал о Давиде, частично забывая свое страстное себялюбие. «Пора мальчику задуматься о дороге в мир, и откровение будет касаться его, — решил он. — Бог проложит ему стезю. Он скажет мне, какое место занять Давиду в жизни и когда ему тронуться в путь. Это правильно, что мальчик будет при мне. Если мне посчастливится и явится ангел Божий, Давид увидит красу и славу Божию, явленную человеку. Это сделает его истинным человеком Божиим».

Джесси и Давид молча ехали по дороге, пока не очутились на том месте, где Джесси однажды воззвал к Богу и напугал внука. Утро было ясное и веселое, а теперь подул холодный ветер, и туча заслонила солнце. Увидя, куда они приехали, Давид задрожал от страха, а когда они остановились у мостика, где речка выбегала из-за деревьев, ему захотелось выскочить из фаэтона и удрать.

Десяток планов бегства промелькнул в голове у Давида, но, когда Джесси остановил лошадь, перелез через изгородь и направился в лес, он последовал за дедом. «Бояться — глупо. Ничего не будет», — говорил он себе, неся ягненка. Беспомощность маленького животного, которое он крепко прижимал к себе, почему-то придавала ему духу. Он чувствовал, как быстро бьется сердце ягненка, и от этого его сердце билось не так быстро. Торопливо шагая за дедом, он распустил бечевку, которой были спутаны ноги ягненка. «В случае чего убежим вместе», — подумал он.

В лесу они ушли далеко от дороги, и Джесси остановился на поросшей кустиками лесной прогалине, которая спускалась к самой речке. По-прежнему не говоря ни слова, он сразу начал складывать в кучу сухие ветви, а потом поджег их. Мальчик сидел на земле и держал ягненка. Фантазия его наделяла смыслом каждое движение старика, и с каждой минутой он все больше пугался. «Я должен помазать кровью агнца голову отрока», — пробормотал Джесси, когда пламя жадно обняло сучья; с этими словами он вынул из кармана длинный нож, повернулся и быстро пошел через прогалину к Давиду.

Мальчика обуял ужас. Ему стало дурно. Секунду он сидел неподвижно, а потом его тело напряглось, и он вскочил. Лицо его стало белым, как шерсть ягненка, а тот, вдруг почувствовав свободу, кинулся вниз по склону. Давид тоже побежал. От страха он мчался, как на крыльях. Он отчаянно прыгал через кусты и бревна. На бегу он сунул руку в карман и

вытащил свою охотничью рогатку. Когда он добежал до речки, которая была мелкой и плескалась по камням, он прыгнул в воду и обернулся назад и, увидев, что дед все еще бежит за ним, с длинным ножом в руке, больше не раздумывая, а нагнувшись, выбрал камень и заложил в рогатку. Он натянул толстую резиновую ленту со всей силы, и камень просвистел в воздухе. Он угодил прямо в голову Джесси, который о внуке совсем забыл, а гнался за ягненком. Дед рухнул со стоном и повалился почти у ног мальчика. Когда Давид увидел, что дед лежит неподвижно и, судя по всему, — мертвый, страх его был безмерен. Он превратился в безумную панику.

Давид с криком повернулся и побежал прочь сквозь лес, рыдая. «Ну и пускай... я убил его — ну и пускай», — всхлипывал он. На бегу он вдруг решил больше не возвращаться ни на фермы Бентли, ни в город Уайнсбург. «Я убил Божьего человека, и теперь сам буду человеком и пойду в мир», решительно сказал он и, перестав бежать, быстрым шагом пошел по дороге, повторявшей изгибы речки, которая текла по полям и лесам на запад.

На земле у речки Джесси Бентли с трудом пошевелился. Он застонал и открыл глаза. Долгое время он лежал неподвижно и глядел в небо. Когда он наконец встал на ноги, мысли у него пугались, и исчезновение мальчика его не удивило. У дороги он сел на бревно и начал говорить о Боге. И больше ничего от него не могли добиться. Когда при нем упоминали Давида, он рассеянно глядел в небо и говорил, что мальчика забрал Божий посланец. «Это случилось потому, что я был слишком жаден до славы», — объявлял он и больше ничего не желал добавить.

ЧЕЛОВЕК С ИДЕЯМИ

Перевод В. Голышева

Жил он с матерью, седой, молчаливой женщиной с особенным землистым цветом лица. Их дом стоял в маленькой роще, за которой главная улица Уайнсбурга пересекала Винную речку. Его звали Джо Уэлинг, и отец его был человеком довольно видным в местном обществе, адвокатом и членом законодательного собрания в столице штата Колумбусе. Сам Джо был маленького роста и по характеру не похож ни на кого в городе. Он напоминал крохотный вулканчик, который много дней молчит и вдруг выбрасывает пламя. Нет, даже не так — он был вроде человека, подверженного падучей, который внушает своим ближним страх, потому что припадок может налететь внезапно и бросить его в то странное и жуткое физическое состояние, когда выкатываются глаза и дергаются руки и ноги. Вот кого напоминал Джо, только у него эта напасть была не физического свойства, а душевного. На него накатывали идеи, и во время этих идейных припадков совладать с ним было невозможно. Слова катились и сыпались у него изо рта. На губах появлялась странная улыбка. Кромки зубов, оправленные в золото, блестели. Напав на нечаянного слушателя, он начинал говорить. Слушателю не было спасения. Возбужденный человек дышал ему в лицо, заглядывал в глаза, долбил дрожащим пальцем в грудь, требовал внимания, завладевал им.

В то время компания «Стандарт ойл» не доставляла керосин потребителю в больших цистернах и грузовых автомобилях, как теперь, а продавала его через бакалейные, скобяные лавки и так далее. Джо был агентом компании в Уайнсбурге и еще нескольких городках в ту и другую сторону по железной дороге, проходившей через Уайнсбург. Он принимал заказы, получал по счетам и прочее. На эту должность его пристроил отец, законодатель.

Магазин за магазином обходил в Уайнсбурге Джо Уэлинг — немногословный, чрезмерно вежливый, сосредоточенно-деловитый. В глазах людей, наблюдавших за ним, пряталось веселье, разбавленное тревогой. Люди ждали, когда его понесет, и приготавливались к бегству. Хотя припадки его были, в общем, безобидными, они были нешуточными. Они обладали силой стихии. Оседлав идею, Джо подчинял себе всех. Его личность приобретала исполинские масштабы. Он подминал человека, с которым говорил, сокрушал человека,

сокрушал всех всех, до кого достигал его голос.

В аптеке Сильвестра Уэста стояли четверо и беседовали о бегах. Тони Типу, рысаку Уэсли Мойра, предстояло в июне выступить в Тиффине, Огайо, и ходил слух, что его ожидает там самое трудное соперничество за всю его биографию. Говорили, что там будет сам Поп Гирс, великий наездник. Сомнения в победе Тони Типа хмуро витали над Уайнсбургом.

В аптеку ворвался Джо Уэлинг, с силой распахнул дверь. Со странно светящимися от увлеченности глазами он напал на Эда Томаса — а Эд между тем был знаком с Попом Гирсом, и суждение его о шансах Тони Типа кое-чего стоило.

— В Винной речке вода поднялась! — воскликнул Джо Уэлинг с видом Фидиппида, принесшего грекам весть о победе при Марафоне. Палец его выбил дробь на широкой груди Эда Томаса. — Под Вертлюжным мостом она в одиннадцати с половиной дюймах от настила, — сыпал он, производя зубами присвистывающий звук.

Лица четверых потемнели от беспомощной досады.

— Мои сведения точные. Можете не сомневаться. Я сходил в скобяную лавку Синингса и взял линейку. Потом вернулся и промерил. И не поверил своим глазам. Понимаете, дождя десять дней не было. Сперва я просто не знал, что подумать. В голове у меня замелькали мысли. Я подумал о подземных коридорах и ключах. Мыслью я углубился под землю и искал там. Я сидел на настиле моста и тер лоб. В небе не было ни облачка, ни единого. Выйдите на улицу, убедитесь сами. Ни облачка не было. И сейчас — ни облачка. Нет, облачко было. Не буду скрывать от вас факты. Было на западе облачко над горизонтом — облачко не больше ладони.

Нет, я, конечно, не думал, что разлив как-то связан с ним. В том-то и дело — понимаете? Можете себе представить, в каком я был недоумении.

И тут меня осенила идея. Я рассмеялся. Ну конечно, дождь прошел над округом Медина. Интересно, а? Если бы у нас не было поездов, не было почты, не было телеграфа, мы бы все равно узнали, что над округом Медина прошел дождь. Ведь Винная речка течет оттуда. Это всем известно. Наша старушка принесла нам известие. Интересно ведь? Я рассмеялся. Подумал: надо сказать вам — интересно ведь, а?

Джо Уэлинг повернулся и пошел к двери. Вытащив из кармана книжку, он остановился и провел пальцем по странице. Он снова был поглощен своими обязанностями агента «Стандарт ойл».

— В бакалее Херна керосин должен быть на исходе. Наведаюсь туда, пробормотал он, уже спеша по улице и вежливо раскланиваясь налево и направо.

Когда Джордж Уилард поступил работать в «Уайнсбургский орел», ему не стало прохожу от Джо Уэлинга. Джо завидовал молодому человеку. Ему казалось, что он сам рожден быть газетным репортером.

— Вот чем я должен бы заниматься, — объявлял он, остановив Джорджа Уиларда на тротуаре перед фуражным магазином Догерти. Глаза его начинали блестеть, указательный палец дрожал. — Конечно, в компании «Стандарт ойл» я зарабатываю больше — и говорю вам это просто так, — добавлял он. — Я против вас ничего не имею, но ваше место должен был бы занимать я. Я выполнял бы работу между делом. Одна нога здесь, другая там — и я бы находил такое, чего вам отродясь не увидеть.

Все больше возбуждаясь, Джо Уэлинг притискивал молодого репортера к стене фуражного магазина. Он словно погружался в раздумье, вращал глазами и проводил узкой нервной рукой по волосам. Лицо его расплывалось в улыбке, золотые зубы блестели.

— Доставайте свою записную книжку, — приказывал он. — Носите ведь в кармане блокнотик, верно? Знаю, что носите. Так вот, запишите. Мне это на днях пришло в голову. Гниение, к примеру. Что есть гниение? Тот же огонь. Оно сжигает дерево и другие вещества. Никогда об этом не задумывались? Конечно, нет. Вот этот вот тротуар, вот этот магазин фуражный, вон те деревья на улице — всё в огне. Горят. Понимаете, гниение происходит все время. Безостановочно. Вода и краска его не остановят. А если вещь железная — что тогда?

Она ржавеет, понятно? А это — тоже огонь. Мир в огне. Вот так и начинайте ваши статьи в газете. Крупным шрифтом: МИР В ОГНЕ. Тут каждый раскроет глаза. Дошлый малый, — скажут про вас. Мне жалко. Я не завидую вам. Эту идею я придумал мимоходом. У меня бы газета заиграла. Вы не можете отрицать.

Внезапно повернувшись, Джо Уэлинг быстро пошел прочь. Через несколько шагов он остановился и оглянулся.

— Я вас не брошу, — сказал он. — Я из вас сделаю классного газетчика. Мне самому надо было бы издавать газету — вот что. Я бы творил чудеса. Это все понимают.

Через год после того, как Джордж Уилард поступил в «Уайнсбургский орел», в жизни Джо Уэлинга произошло четыре события. Умерла его мать; он поселился в «Новом доме Уиларда»; у него начался роман, и он организовал Уайнсбургский бейсбольный клуб.

Джо организовал бейсбольный клуб, потому что ему хотелось быть тренером, и на этом посту он вскоре завоевал уважение сограждан. «Джо чудо, — объявили они, когда Уайнсбург победил команду округа Медина. Команда у него работает дружно. Вы только понаблюдайте за ним».

На бейсбольном поле Джо Уэлинг стоял у первого дома, всем телом дрожа от возбуждения. Помимо воли все игроки не могли оторвать от него глаз. Подавальщик противников терялся.

— Ну! Ну! Ну! Ну! — кричал возбужденный тренер. — Следить за мной! Следить за мной! Следить за моими пальцами! Следить за моими руками! Следить за моими ногами! Следить за моими глазами! Работаем вместе! Следить за мной! Во мне вы видите все ходы игры! Работать со мной! Работать со мной! Следить за мной! Следить за мной! Следить за мной!

Когда бегуны уайнсбургской команды занимали дома, на Джо Уэлинга словно нисходило вдохновение. Не понимая даже, что ими движет, не сводя с него глаз, бегуны покидали дома, продвигались вперед, возвращались вспять, словно их вели на невидимом шнуре. Противники тоже не сводили с него глаз. Джо их завораживал. Они мешкали, а потом, точно силясь прогнать наваждение, начинали бестолково перебрасываться мячом, и под яростные, зверские выкрики тренера бегуны Уайнсбурга летели к своему полю.

Когда у Джо Уэлинга начался роман, город встревожился. Все шептались и качали головами. Если кто-то хотел посмеяться над этим, смех выходил натянутый и ненатуральный. Джо влюбился в Сару Кинг, худую, печальную женщину, которая жила с отцом и братом в кирпичном доме напротив кладбищенских ворот.

Обоих Кингов, Эдварда, отца, и Тома, сына, в Уайнсбурге недолюбливали. Их считали заносчивыми и опасными. Они приехали в Уайнсбург откуда-то с юга и делали у себя, на Вертлюжной заставе, сидр. Про Тома Кинга говорили, что до приезда в Уайнсбург он убил человека. Ему было двадцать семь лет, и он ездил по городу на сером пони. Кроме того, он носил длинные желтые усы, которые свисали ему на рот, и повсюду ходил с тяжелой, устрашающего вида тростью. Однажды он убил этой тростью собаку. Собака была обувного торговца Уина Поуси, она стояла на тротуаре и виляла хвостом. Том Кинг убил ее одним ударом. Его арестовали, и он уплатил десять долларов штрафа.

Старик Эдвард Кинг был маленького роста и, когда проходил мимо людей на улице, смеялся странным невеселым смехом. Смеясь, он чесал левый локоть правой рукой. Из-за этой привычки рукав у него был вытерт чуть ли не до дыр. Когда он шел по улице, нервно озираясь и похохатывая, он выглядел еще опаснее, чем его молчаливый свирепый сын.

Сара Кинг стала прогуливаться по вечерам с Джо Уэлингом, и люди встревоженно покачивали головой. Она была высокая, бледная, с темными полукружьями под глазами. Пара имела нелепый вид. Они гуляли под деревьями, и Джо говорил. Его горячие и энергические изъятия любви доносились из темноты под кладбищенской стеной или с укрытого деревьями взвоза от Водозаборного пруда к Ярмарочной площади, а потом люди повторяли их в лавках. Собравшись у стойки в «Новом доме Уиларда», они смеялись и судачили об этом ухаживании. Смех сменился тишиной. Уайнсбургские бейсболисты

выигрывали матч за матчем, и в городе стали уважать Джо. Люди предчувствовали трагедию, ждали, нервно посмеивались.

Встреча Джо Уэлинга с обоими Кингами, которую с тревогой ждал город, произошла в субботу под вечер в комнате самого Джо, в гостинице Уиларда. Джордж Уилард был очевидцем встречи. Дело было так.

Возвращаясь после ужина к себе, молодой репортер увидел, что в неосвещенной комнате Джо Уэлинга сидят Том Кинг и его отец. Том — возле двери, с тяжелой тростью в руке. Старик Эдвард нервно расхаживал и чесал левый локоть правой рукой. В коридоре было пусто и тихо.

Джордж Уилард вошел к себе в комнату и сел за стол. Попробовал писать, но рука тряслась так, что не могла удержать перо. Он тоже нервно заходил по комнате. Как и все уайнсбуржцы, он был в растерянности и не знал, что делать.

Была половина восьмого и быстро сгущались сумерки, когда по станционной платформе, в сторону гостиницы Уиларда прошел Джо Уэлинг. В руках он нес охапку травы и бурьяна. Хотя Джордж Уилард дрожал от страха, его позабавила эта маленькая бодрая фигурка, рысцой бежавшая по платформе с охапкой травы.

Дрожа от волнения и страха, молодой репортер притаился в коридоре под дверью комнаты, где Джо Уэлинг разговаривал с Кингами. Ругательство, нервный смешок старика Эдварда, потом тишина. И вот раздался голос Джо Уэлинга, отчетливый и звонкий. Джорджа Уиларда разобрал смех. Он понял. Как всех сокрушали речи Джо Уэлинга, так и этих обоих гостей опрокинул и понес шквал его слов. Слушатель в коридоре расхаживал взад-вперед в полном изумлении.

А Джо Уэлинг у себя в комнате пропустил мимо ушей угрожающее ворчание Тома Кинга. Весь во власти новой идеи, он закрыл дверь, зажег лампу и разложил на полу свои травы.

— Я тут кое-что придумал, — торжественно объявил он. — Хотел рассказать Джорджу Уиларду — пусть сочинит статью для своей газеты. Хорошо, что вы тут. Жалко, нет Сары. Я хотел к вам сам пойти, поделиться кое-какими идеями. Интересными. Сара меня не пустила. Говорит, мы поссоримся. Какая чепуха.

Джо Уэлинг забежал перед двумя озадаченными мужчинами и принялся объяснять.

— И даже не сомневайтесь! — закричал он. — Это важное дело. — Голос его звенел от возбуждения. — Слушайте меня внимательно — не пожалеете. Ей-богу, не пожалеете. Теперь предположим: предположим, вся наша пшеница, кукуруза, овес, горох, картофель — все истреблено сверхъестественной силой. А мы — мы, стало быть, здесь, в нашем округе. И вокруг нас высокий, глухой забор. Такая, предположим, история. Перелезть через забор никто не может, все земные плоды погибли, остались только эти дикие, эти травы. Что же конец нам? Я вас спрашиваю. Конец нам?

Том Кинг опять заворчал, и на минуту в комнате все стихло. Но Джо бросился развивать идею дальше:

— Первое время будет трудно. Согласен. Не могу не согласиться. От этого никуда не денешься. Несладко нам будет. Подберутся толстые животы. Но нас не сломишь. Так я вам скажу.

Добродушно рассмеялся Том Кинг, и жутковатый нервный смех Эдварда Кинга разнесся по дому. Джо Уэлинг помчался дальше:

— Понимаете, мы начнем выводить новые фрукты и овощи. И скоро восстановим все, чего лишились. Учтите, я не говорю, что новые породы будут такие же, как прежние. Нет, не будут. Могут быть лучше, могут быть и похуже. Интересно, а? Тут есть над чем подумать. Тут стоит пораскинуть мозгами, а?

В комнате стало тихо, потом снова послышался нервный смех старого Кинга.

— А слушайте, жалко все-таки, что нет Сары! — воскликнул Джо Уэлинг. Пойдемте к вам. Я хочу ей это рассказать.

В комнате задвигались стулья. Тут Джордж Уилард удалился к себе. Высунувшись из

окна, он увидел, как Джо Уэлинг идет по улице с Кингами. Тому Кингу приходилось делать огромные шаги, чтобы поспеть за маленьким Джо. Он шел наклонившись набок — слушал внимательно и увлеченно. Джо Уэлинг продолжал свою взволнованную речь.

— А возьмите молочай! — восклицал он. — Ведь чего только не сделаешь из молочая, а? Просто даже не верится. Нет, я прошу вас, подумайте. Подумайте оба, прошу вас. Понимаете, будет новое растительное царство. Ведь интересно, а? Идея какая! Вот увидите, Сара — сразу поймет. Ей будет интересно. Ей всегда интересны новые мысли. Чтобы Сара чего-нибудь не поняла — такого не бывает, правда? Да что там говорить. Да вы сами знаете!

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Перевод В. Голышева

Алисе Хайндман исполнилось двадцать семь лет, когда Джордж Уилард был еще мальчишкой, и в Уайнсбурге она жила с рождения. Она работала продавщицей в мануфактурном магазине Уини, а жила с матерью, вторично вышедшей замуж.

Отчим Алисы красил экипажи и крепко выпивал. Жизнь у него сложилась необычно. О ней стоило бы как-нибудь рассказать.

В двадцать семь лет Алиса была высокой и довольно худощавой. Крупная голова как бы перевешивала тело. Она была шатенка с карими глазами и слегка сутулилась. Держалась тихо, но спокойная внешность лишь скрывала непрерывное внутреннее брожение.

В шестнадцать лет — она еще не работала в магазине — у Алисы завязался роман с молодым человеком. Молодой человек, Нед Кари, был старше Алисы. Он, как и Джордж Уилард, работал в «Уайнсбургском орле» и долгое время ходил на свидания с Алисой каждый вечер. Они гуляли под деревьями городских улиц и разговаривали о том, как распорядятся своими жизнями. В ту пору Алиса была очень хорошенькой девушкой, Нед Кари обнимал ее и целовал. Он возбуждался, говорил слова, которых не собирался говорить, и Алиса, смущенная желанием внести что-нибудь красивое в свою довольно бесцветную жизнь, тоже возбуждалась. И тоже говорила. Корка ее жизни, ее всегдашняя сдержанность и робость отлетали прочь, и она отдавалась любовным переживаниям. Поздней осенью того года, когда ей исполнилось шестнадцать, Нед Кари решил ехать в Кливленд в надежде, что получит там место в газете и выбьется в люди, и Алиса хотела поехать с ним. Дрожащим голосом она сказала ему о своем желании.

— Я буду работать, и ты сможешь работать, — сказала она. — Я не хочу сидеть на твоей шее, это помешает тебе расти. Можешь сейчас не жениться на мне. Обойдемся без этого, а будем вместе. Даже если будем жить в одном доме, люди ничего не скажут. В большом городе нас никто не знает, на нас не обратят внимания.

Неда Кари озадачила безоглядная решимость возлюбленной — и глубоко растрогала. Раньше он хотел стать ее любовником, а теперь изменил свои намерения. Теперь ему хотелось оберегать ее и заботиться о ней.

— Ты не понимаешь, что говоришь, — резко возразил он, — будь уверена: ничего подобного я не допущу. Как только я найду хорошее место, я сразу приеду. А ты пока останешься здесь. Другого выхода у нас нет.

Вечером перед тем, как отправиться из Уайнсбурга в большой город за новой жизнью, Нед Кари зашел к Алисе. С час они гуляли по улице, а потом наняли в конюшне Уэсли Мойра коляску и поехали кататься за город. Взошла луна, а они чувствовали, что не в силах разговаривать. От грусти молодой человек забыл о том, как он решил вести себя с девушкой.

Там, где длинный луг спускался к берегу Винной речки, они вылезли из коляски и при тусклом свете стали любовниками. В полночь, когда возвращались в город, оба были рады. Что бы ни случилось в будущем, казалось им, ничто не заслонит открывшейся сегодня красоты и чуда.

— Теперь мы должны быть верны друг другу — должны быть верны, что бы ни произошло, — сказал Нед Кари, покидая девушку у отцовского порога.

Молодой журналист не получил места в кливлендской газете и уехал на запад, в Чикаго. Первое время он скучал и писал Алисе чуть ли не ежедневно. Потом он окунулся в жизнь большого города; появились новые знакомые и новые интересы. В пансионе, где он поселился, жили несколько женщин. Одна из них привлекла его внимание, и он забыл Алису из Уайнсбурга. К концу года перестал ей писать, да и вспоминал о ней редко-редко — когда грустил в одиночестве или гулял по парку и лунный свет лежал на траве, как в ту ночь на лугу у Винной речки.

А в Уайнсбурге девушка, которую он тогда любил, стала взрослой женщиной. Когда ей было двадцать два года, неожиданно умер ее отец, шорник. Шорник был солдатом-ветераном, и через несколько месяцев вдове его назначили пенсию. На первую же получку она купила станок и начала ткать ковры, а Алиса поступила в магазин Уини. Несколько лет она не хотела верить, что Нед Кари к ней больше не вернется.

Алиса была довольна, что поступила на работу: за ежедневным трудом в магазине время ожидания тянулось не так медленно и скучно. Она стала откладывать деньги, решив накопить долларов двести-триста и поехать в город к возлюбленному — а вдруг в нем снова проснется чувство, когда она будет рядом.

Алиса не винила Неда Кари в том, что случилось на лугу при луне, но чувствовала, что никогда не сможет выйти замуж за другого. Сама мысль ужасала ее — отдать другому то, что и сейчас, казалось ей, принадлежит одному Неду. Молодые люди пробовали добиться ее внимания, но она ими пренебрегала. «Вернется он или нет — я его жена и его женой останусь», шептала она и при всем своем стремлении к независимости не понимала набиравшей силу новой идеи, что женщина сама себе хозяйка и вправе брать от жизни все, что ей надо.

В мануфактурном магазине Алиса работала с восьми утра до шести вечера, а три раза в неделю ходила туда еще и на вечер — с семи до девяти. Время шло, она все сильнее ощущала свое одиночество, и у нее появились странности, обычные у одиноких людей. Вечером, поднявшись к себе в комнату, она молилась на коленях и шептала в молитвах то, что хотела бы сказать возлюбленному. Она привязывалась к неодушевленным предметам и не выносила, когда трогали мебель в ее комнате, потому что мебель была ее. Деньги она копила сперва для того, чтобы поехать за Недом в Чикаго, но продолжала копить и потом, хотя сам план был оставлен. Это сделалось закоренелой привычкой, и, когда Алисе нужно было новое платье, она его не покупала. Иногда в дождливый день, в магазине, она брала свою банковскую книжку и, раскрыв ее, предавалась несбыточным мечтам о том, как накопит столько денег, что сможет содержать и себя, и будущего мужа на одни проценты.

«Нед всегда любил путешествовать, — думала она. — Я дам ему такую возможность. Когда мы поженимся, я смогу откладывать и из его денег, и из своих, и мы станем богачами. Тогда уж мы по всему свету поедем».

В мануфактурной лавке недели сливались в месяцы, месяцы в годы, а Алиса все ждала и мечтала о возвращении любимого. Хозяин ее, седой старик со вставными зубами и жидкими, сивыми усами, свисавшими на рот, был не охотник до разговоров, а в дождливые дни и зимой, когда на Главной улице бушевала непогода, покупатели в магазин не заглядывали часами. Алиса раскладывала и перекладывала товары. Стояла у витрины, глядела на пустынную улицу и думала о тех вечерах, когда она гуляла с Недом Кари, и о том, что он сказал: «Теперь мы должны быть верны друг другу». Слова эти раздавались и отдавались в голове зреющей женщины. На глаза наворачивались слезы. Бывало так, что хозяин уходил, а она, оставшись одна в магазине, клала голову на прилавок и плакала. «Я жду тебя, Нед», — повторяла она снова и снова, и чем дальше, тем громче нашептывал ей страх, что Нед никогда не вернется.

Весной, когда утихнут дожди, но жаркие летние дни еще не наступят, окрестности Уайнсбурга прекрасны. Город лежит среди широких полей, а за полями — приветливые

перелески. На этих лесных островах много укромных мест, тихих уголков, куда приходят посидеть по воскресеньям пары. Сквозь деревья они смотрят на поля, видят фермеров за работой на гумнах, упряжки на дороге. В городе звонят колокола, поезд проходит, похожий издали на игрушку.

Первые годы после отъезда Неда Кари Алиса не ходила по воскресеньям в лес с молодежью, но на третий или четвертый год, когда одиночество стало невыносимым, как-то раз надела свое лучшее платье и отправилась туда. Нашла уединенное место, откуда был виден город и просторные поля, и села. Страх перед старостью и напрасной жизнью охватил Алису. Она не могла усидеть на месте и встала. И пока она стояла, глядя на окрестности, что-то — может быть, мысль о безостановочном беге жизни, обнаруживающем себя в круговороте времен года, — заставило ее задуматься о том, что годы ее уходят. С дрожью страха она поняла, что пора красоты и молодой свежести для нее минула. Впервые она почувствовала себя обманутой. Неда Кари она не винила и не знала, кто тут виноват. Ее охватила грусть. Она упала на колени и хотела молиться, но вместо молитвы у нее вырвались слова недовольства. «Не дожусь я этого. Не видать мне счастья. Зачем я себя обманываю?» — воскликнула она, и от этого, от первой смелой попытки взглянуть в лицо страху, ставшему частью ее каждодневной жизни, пришло странное облегчение.

В год, когда Алисе исполнилось двадцать пять, скучное однообразие ее дней нарушили два события. Мать ее вышла замуж за Буша Милтона, уайнсбургского каретного маляра, а сама она стала прихожанкой Уайнсбургской методистской церкви. Алиса прибилась к церкви потому, что начала пугаться своей оторванности от людей. Особенно сиротливо она почувствовала себя после материной свадьбы. «Я становлюсь старой и чудной. Если Нед приедет, на что я ему такая? У них там, в большом городе, люди — вечно молодые. Там столько всего происходит, что им некогда стареть», — сказала она себе с хмурой усмешкой и решительно приступила к сближению с людьми. Каждый четверг, вечером после закрытия магазина, она шла на молитвенное собрание в цокольном этаже церкви, а по воскресеньям посещала собрания молодых методистов из лиги Эпворта.

Когда Уил Харли, мужчина средних лет, продавец из аптеки и прихожанин той же церкви, предложил проводить ее домой, она не возражала. «Конечно, я не допущу, чтобы у него вошло в привычку бывать со мной, но, если он станет изредка меня навещать, ничего плохого в этом нет», — сказала она себе, ибо настойчиво хранила верность Неду Кари.

Не отдавая себе отчета, Алиса пыталась — сперва робко, а потом все решительнее — снова овладеть ходом своей жизни. С аптекарем она шла молча, но случалось, во время этого флегматичного шествия, в темноте, трогала рукой складки его пальто. Когда он расставался с ней у ее калитки, она не входила в дом, а останавливалась перед дверью. Ей хотелось окликнуть аптекаря, чтобы он посидел с ней на темной веранде, но она боялась, что аптекарь не так поймет. «Мне не он нужен, — говорила она себе. — Мне нужно меньше бывать одной. Если не буду следить за этим, я отвыкну бывать с людьми».

Ранней осенью того года, когда ей исполнилось двадцать семь лет, Алису охватило жгучее беспокойство. Общество аптекаря стало ей противно, и, если он заходил за ней, она отсылала его прочь. Ум ее стал напряженно-деятельным, и, когда она возвращалась с работы, усталая от многочасового стояния за прилавком, и ложилась в постель, сон не шел к ней. Неподвижным взглядом она глядела в темноту. Ее воображение, словно пробудившийся от крепкого сна ребенок, резвилось в комнате. Что-то в глубине ее души не желало тешиться фантазиями и требовало от жизни прямого ответа.

Алиса брала в руки подушку и крепко прижимала к грудям. Вставала с постели, скатывала одеяло так, что в темноте оно было похоже на лежащего под простыней человека, опускалась перед кроватью на колени и ласкала его, приговаривая: «Почему ничего не случается? Почему я осталась одна?» Иногда она думала о Неде Кари, но уже не рассчитывала на него. Желание ее потеряло определенность. Она не хотела Неда Кари или кого-нибудь другого. Она хотела быть любимой, хотела ответа на зов, который звучал в ней все громче и громче.

И вот однажды дождливым вечером Алиса пережила приключение. Оно напугало и смутило ее. Она пришла из магазина в девять часов и никого не застала дома. Буш Милтон был в городе, а мать у соседей. Алиса поднялась к себе и в темноте разделась. Она постояла у окна, слушая, как стучит по стеклу дождь, и вдруг ею овладело странное желание. Не задумавшись о том, что она собирается сделать, Алиса сбежала по темной лестнице и выскочила под дождь. Она остановилась на крохотной лужайке перед домом, ощущая кожей холодный дождь, и ей до безумия захотелось пробежать нагишом по улицам.

Ей казалось, что дождь произведет чудесное и животворное действие на ее тело. Много лет уже она не чувствовала себя такой молодой и смелой. Ей хотелось скакать и бегать, кричать, найти такого же одинокого человека и обнять его. По кирпичному тротуару плелся домой человек. Алиса побежала. Ею овладело отчаянное, непреодолимое желание. «Все равно, кто он. Он один, пойду к нему», — решила она и, не думая о том, к чему приведет это безумство, нежно окликнула прохожего.

— Постой! — позвала она. — Не уходи. Все равно, кто ты, — погоди, постой.

Человек на тротуаре остановился, прислушался. Это был старик, и глуховатый. Приставив ко рту ладонь, он закричал:

— Что? Что вы сказали?

Алиса упала на землю и лежала, вздрагивая. Она вдруг осознала свой поступок и так испугалась, что, даже когда старик пропал из виду, не нашла в себе сил встать на ноги, а поползла к дому по траве на четвереньках. У себя в комнате она задвинула засов и приперла дверь туалетным столиком. Ее трясло, точно в ознобе, и руки дрожали так, что она еле надела ночную рубашку. Она легла в постель, зарылась лицом в подушку и горько заплакала. «Что со мной? Я натворю что-нибудь ужасное, если не буду держать себя в руках», — думала она и, повернувшись лицом к стене, заставляла себя мужественно посмотреть в лицо правде — что многие люди должны жить и умирать в одиночку, даже в Уайнсбурге.

ПОЧТЕННЫЕ ЛЮДИ

Перевод В. Голышева

Если вы жили в больших городах и гуляли летним днем по зоопарку, вам, наверно, доводилось видеть, как моргает в углу железной клетки громадная нелепая обезьяна, создание с уродливыми, отвислыми, безволосыми подглазьями и ярко-багровым тылом. Эта обезьяна — форменное чудище. В безукоризненном ее уродстве есть даже какая-то извращенная красота. Дети стоят перед клеткой, как зачарованные, мужчины отворачиваются с гримасой отвращения, женщины замедляют шаг, видимо сию секунду сообразить, кого из знакомых мужчин напоминает сия фигура.

Были бы вы в прежние годы жителем городка Уайнсбурга в Огайо, вам не пришлось бы ломать голову при виде заключенного в клетке зверя. Вылитый Уош Вильямс, сказали бы вы. И в углу сидит точно так, как Уош Вильямс сживает на травке в станционном дворе летним вечером, когда закроет на ночь свое отделение.

Уош Вильямс, уайнсбургский телеграфист, был самым уродливым созданием в городе. Утроба неохватная, шея тонкая, ножки слабые. Грязный. Нечистым в нем было все. Белки глаз — и те казались замусоленными.

Я хватил через край. У него не все было грязным. За руками он следил. Пальцы у него были толстые, но что-то ладное и чуткое угадывалось в его руке, когда она лежала у телеграфного ключа. В молодости Уош Вильямс слыл первым телеграфистом штата, и, хотя его отправили в захолустный Уайнсбург, он все равно гордился своим мастерством.

Уош Вильямс не знал с мужским населением города, где он жил. «Нечего мне с ними делать», — говорил он, глядя мутными глазами на людей, проходивших по станционной платформе мимо телеграфного отделения. Вечером же он шел вдоль по Главной улице в

салун Эда Грифита, и, выпив невероятное количество пива, плелся в свою комнату в «Новом доме Уилларда», и заваливался спать.

Уош Вильямс был человеком бесстрашным. После одного случая он возненавидел жизнь и ненавидел ее всей душой, с упоением поэта. В первую голову — женщин. «Стервы», — так он их называл. К мужчинам он относился немного иначе. Мужчин он жалел. «Да разве есть на свете человек, чтобы не сидел под башмаком у какой-нибудь стервы?» — спрашивал он.

В Уайнсбурге не обращали внимания ни на Уоша, ни на ненависть его к ближним. Однажды супруга банкира Уайта пожаловалась телеграфной компании, что в уайнсбургском отделении — грязь и отвратительно пахнет, но ничего из ее жалобы не вышло. Нет-нет да и находился человек, уважавший телеграфиста. Человек, который чутьем угадывал, что Уош кипит возмущением против того, чем сам он не возмущается только из трусости. Когда Уош Вильямс шел по улице, такого человека подмывало отдать телеграфисту честь, снять перед ним шляпу, поклониться. Подобные чувства испытывал и старший над телеграфистами железной дороги, которая проходила через Уайнсбург. Он услал Вильямса в заштатный Уайнсбург, чтобы избежать увольнения, и прогонять его оттуда не собирался. Когда пришла письменная жалоба от банкирской супруги, он порвал ее и нехорошо засмеялся. Почему-то, разрывая жалобу, он подумал о своей супруге.

У Уоша Вильямса была когда-то супруга. Молодым человеком он женился на одной женщине в Дейтоне, Огайо. Она была высокая и стройная, голубоглазая, с пшеничными волосами. Уош и сам был видным парнем. Эту женщину он любил так же самозабвенно, как впоследствии ненавидел всех женщин.

Во всем Уайнсбурге лишь один человек знал о том, что изуродовало облик и характер Уоша Вильямса. Уош однажды сам рассказал об этом Джорджу Уилларду, а разговор этот случился при таких обстоятельствах.

Как-то вечером Джордж Уиллард гулял с Беллой Карпентер, которая занималась отделкой дамских шляп в мастерской модистки Кейт Макхью. Молодой человек не был влюблен в эту женщину, у которой к тому же был поклонник бармен из салуна Эда Грифита, — но, бродя под деревьями, они время от времени обнимались. Темнота и собственные мысли что-то пробуждали в них. Возвращаясь на Главную улицу мимо пристанционной лужайки, они заметили Уоша Вильямса, который, видимо, уснул на траве под деревом. На другой вечер телеграфист и Джордж Уиллард гуляли вместе. Они прошли вдоль полотна и сели на штабель подгнивших шпал возле путей. Тут-то и рассказал телеграфист о происхождении своей ненависти.

С десятков раз, наверное, Джордж Уиллард и этот странный, уродливый человек, живший в отцовской гостинице, готовы были разговориться. Молодой человек смотрел на жуткое лицо, злобно озиравшее столовую гостиницы, и мучился любопытством. Что-то затаенное в тяжелом взгляде постояльца убеждало Джорджа, что этот человек, которому не о чем говорить с другими, найдет, что сказать ему. И вот летним вечером, на штабеле шпал, Джордж сидел рядом с ним, выжидая. Но телеграфист молчал, словно раздумал разговаривать, и тогда он сам попытался завести беседу.

— Вы когда-нибудь были женаты? — начал он. — Сдается мне, что были и ваша жена умерла, правильно?

Уош Вильямс изверг серию грязных ругательств.

— Да, издохла, — подтвердил он. — Мертвая — как все бабы, мертвая. Заживо мертвая тварь, которая ходит перед глазами людей и поганит землю. Он уставился молодому человеку в глаза и побагровел от злости. — И не забирай себе в голову всякие глупости, — велел он. — Жена моя мертвая; это точно. Слышишь, бабы все мертвые — и моя мать, и твоя мать, и эта длинная брюнетка из шляпной мастерской, что вчера, я видел, с тобой гуляла, — все они, все мертвые. Слышишь, во всех, говорю, сидит какая-то гниль. Был я женат, как же. Моя была мертвая еще до нашей свадьбы — поганая тварь, порождение еще худшей погани. Эта тварь была послана, чтобы отравить мне жизнь. Я был дурак, понятно? — как ты сейчас,

вот и женился на этой бабе. Хотел бы я, чтобы люди хоть немного разобрались в бабах. Они ниспосланы нам, чтобы мы не могли сделать землю приличным местом. Коленце природы. Тьфу! Ползучие гады, склизкие твари — вот кто они, эти бабы с мягкими ручками, голубыми глазами. Меня мутит при виде бабы. Сам не знаю, почему не убиваю каждую попавшуюся на глаза.

Отчасти напуганный, но и завороченный горящим взглядом безобразного старика, Джордж Уилард изнемогал от любопытства. Смеркалось, и, чтобы лучше видеть лицо собеседника, он наклонился поближе. Когда темнота совсем скрыла багровое, опухшее лицо и горящие глаза старика, шальная мысль пришла ему в голову. Уош Вильямс говорил негромким ровным голосом — от этого его слова звучали еще страшнее. Молодому репортеру вдруг представилось, будто рядом, в темноте, на шпалах сидит видный парень, черноволосый, с живыми черными глазами. Что-то почти прекрасное было в голосе уроды Вильямса, который рассказывал историю своей ненависти.

В темноте, на шпалах сидя, уайнсбургский телеграфист превратился в поэта. Ненависть вознесла его до таких высот.

— Я потому тебе про себя рассказываю, что видел, как ты целовал в губы Беллу Карпентер, — пояснил он. — Что случилось со мной, может теперь и с тобой случиться. Я хочу тебя предостеречь. Поди, размечтался уже. Вот я тебя отрезвлю.

Уош Вильямс стал рассказывать о своей жизни с высокой голубоглазой блондинкой, с которой он, молодой в ту пору телеграфист, познакомился в городе Дейтоне, Огайо. Местами в его рассказе, прослоенном грязной руганью, сквозила подлинная красота. Телеграфист женился на дочери зубного врача, младшей из трех сестер. В день свадьбы его за мастерство произвели в диспетчеры, с повышением оклада, и направили работать в Колумбус, Огайо. Там он и поселился с молодой женой, купив дом в рассрочку.

Молодой телеграфист был без ума от любви. С каким-то прямо религиозным пылом он сумел одолеть все соблазны молодых лет и остаться девственником до свадьбы. Он нарисовал Джорджу Уиларду картину своей жизни с молодой женой в Колумбусе.

— За домом мы развели огород, — рассказывал он. — Посадили горох, кукурузу, словом, всякое такое. В Колумбус мы перебрались в первых числах марта, и как стало пригревать, я сразу начал возиться в огороде. Я вскапываю черную землю, а она бежит вокруг, хохочет и делает вид, будто боится червей, которые вылезают из комьев. В конце апреля стали сеять. Она стоит в проходах между грядками с пакетиком в руке. В пакетике — семена. Она дает мне семена, по несколько штук за раз, а я вдавливаю их в теплую рыхлую землю.

У человека, говорившего в темноте, перехватило голос.

— Я любил ее, — сказал он. — Не отказываюсь, был дураком. И сейчас ее люблю. Там, весенним вечером, в сумерках, я ползал по черной земле у ее ног, расстилался перед ней. Целовал ей туфли, лодыжки над туфлями. Дрожал, когда подол ее платья касался моего лица. После двух лет такой жизни, когда я узнал, что она ухитрилась завести еще трех любовников, регулярно бывавших в доме, пока я работал, я не тронул ни их, ни ее. Я ничего не сказал, просто отправил ее к матери. Говорить было не о чем. У меня лежало четыреста долларов в банке — я отдал ей. Я не стал спрашивать — почему? Я ничего не сказал. Когда она уехала, я плакал, как глупый мальчишка. Вскоре мне удалось продать дом, и эти деньги я тоже отослал ей.

Уош Вильямс и Джордж Уилард поднялись со шпал и пошли вдоль путей к городу. Телеграфист, задыхаясь, быстро заканчивал рассказ.

— Ее мать вызвала меня, — сказал он. — Прислала мне письмо и попросила приехать к ним в Дейтон. Я приехал туда вечером, примерно вот в это время.

Голос Уоша Вильямса усилился почти до крика.

— Я просидел у них в гостиной два часа. Встретила меня ее мать, усадила. Дом у них обставлен модно. Почтенные, что называется, люди. В гостиной — плюшевые кресла, кушетка. Я весь дрожал. Я ненавидел ее любовников за то, что они совратили ее. Я изнывал

от одиночества и хотел, чтобы она ко мне вернулась. Чем дольше я ждал, тем беззащитней делался от нежности. Мне казалось, если она войдет и только дотронется до меня, я, наверно, потеряю сознание. Все обмирало во мне — простить, забыть.

Уош Вильямс остановился и глядел на Джорджа Уиларда. Молодого человека бил озноб. Голос старика опять стал тихим, мягким.

— Она вошла в комнату голая, — сказал он. — Это мать ее надоумила. Пока я сидел, она ее раздевала и, наверно, еще уговаривала. Сперва я услышал голоса в коридорчике, потом дверь тихо отворилась. Ей было стыдно, она стояла не шевелясь, глаза потупила. Мать за ней не вошла. Она втолкнула дочку в комнату и стояла за дверью, ждала, рассчитывая, что мы... ну, понятно тебе, — ждала.

Джордж Уилард с телеграфистом вышли на Главную улицу Уайнсбурга. Свет из витрин яркими сочными пятнами лежал на тротуарах. Шли люди, смеялись, болтали. Молодой репортер чувствовал себя больным и разбитым. Он мысленно видел себя тоже старым и безобразным.

— Я не успел убить ее мать, — сказал Уош Вильямс, блуждая взглядом по улице. — Я только раз ударил ее стулом, и тут же набежали соседи, отняли стул. Так она, понимаешь, завопила. Теперь уж мне ее не убить. Умерла от лихорадки через месяц после этого.

МЫСЛИТЕЛЬ

Перевод В. Голышева

Дом в Уайнсбурге, где жил Сет Ричмонд с матерью, был в свое время городской достопримечательностью, но молодой Сет уже не застал его в расцвете славы. Ее затмил громадный кирпичный дом, построенный на Каштановой улице банкиром Уайтом. Дом Ричмондов стоял в самом конце Главной улицы, в низине. Фермеры, которые приезжали в город по пыльной дороге с юга, миновав орешник, огибали Ярмарочную площадь, обнесенную высоким забором с афишами, и рысцой, под уклон, мимо дома Ричмондов, спускались в город. Поскольку и к северу и к югу от Уайнсбурга много земли занято садами и ягодниками, Сет видел телеги со сборщиками — парнями, девушками и женщинами: утром они ехали на поля, а вечером все в пыли возвращались домой. Эта говорливая ватага, грубые громогласные шутки, которыми перебрасывались ездоки, порою сильно его раздражали. Он жалел, что не может сам смеяться во все горло, выкрикивать бессмысленные шутки, стать частью этого бесконечного, неутомимого, смешливого потока, прокатывающегося по дороге то туда, то сюда.

Дом Ричмондов был построен из известняка, и, хотя в городке говорили, что он ветшает, на самом деле он хорошел год от года. Время уже подкрашивало полегоньку камень, клало сочный золотистый тон на его поверхность, а вечерами и в пасмурные дни набрасывало волнистые черные и бурые мазки в тенях под карнизами.

Дом этот построил дед Сета, владелец каменоломен, вместе с каменоломнями на озере Эри, в восемнадцати милях к северу от города, оставил его своему сыну Кларенсу Ричмонду — отцу Сета. Кларенс Ричмонд, тихий и горячий человек, которого необычайно уважали соседи, погиб в уличной перестрелке с редактором газеты в Толидо, Огайо. Причиной перестрелки было то, что имя Кларенса Ричмонда газета связала с именем одной учительницы; но, поскольку ссору покойный затеял сам и первым выстрелил в редактора, убийце удалось избежать наказания. После смерти Кларенса обнаружилось, что большую часть наследства он разбазарил, играя на бирже и неудачно вкладывая деньги под влиянием друзей.

Оставшись с небольшим доходом, Виргиния Ричмонд жила замкнуто и растила сына. Смерть мужа и главы семьи глубоко опечалила ее, однако слухам, распространившимся после его смерти, она нисколько не верила. В ее глазах этот ранимый, ребячливый человек, к

которому все испытывали безотчетную симпатию, был просто неудачником, натурой слишком утонченной для прозаической жизни.

— До тебя будут доходить всякие слухи, но ты им не верь, — говорила она сыну. — Он был добрый человек, чересчур отзывчивый и напрасно старался стать коммерсантом. Сколько я ни думаю, ни мечтаю о твоём будущем, самое лучшее, что я могу тебе пожелать, — это чтобы ты стал таким же добрым человеком, как твой папа.

Через несколько лет после смерти мужа, обеспокоенная тем, что расходы по дому все растут, Виргиния Ричмонд решила найти приработок. Она выучилась стенографии и с помощью друзей мужа получила место судебной стенографистки в окружном центре. Во время сессий она каждое утро ездила туда на поезде, а когда суд не заседал, целыми днями ухаживала у себя в саду за розами. Это была высокая осанистая женщина с неинтересным лицом и пышными темно-каштановыми волосами.

В отношениях Сета Ричмонда с матерью была одна особенность, и она стала проявляться в его отношениях с остальными людьми, когда ему еще не исполнилось девятнадцати. Почти нездоровое уважение к сыну заставляло Виргинию по большей части молчать в его присутствии. А если она резко к нему обращалась, ему стоило только пристально посмотреть ей в глаза, чтобы увидеть в них такое же смущение, какое он уже замечал в глазах других людей.

Суть дела состояла в том, что сын мыслил с удивительной ясностью, а мать — нет. Во всех случаях жизни она ожидала от человека обычных реакций. У тебя сын, мальчик; ты отчитываешь его — он потупился, дрожит. Отчитала плачет; все прощено. Поплакал, лег спать — входишь к нему крадучись, целуешь.

Виргиния Ричмонд не понимала, почему с ее сыном — все не так. От самого сурового нагоняя он не дрожит и не смотрит в пол, а смотрит прямо на нее — и тревожные сомнения заползают в душу. А войти украдкой — она к нему и пятнадцатилетнему побоялась бы.

В шестнадцать лет Сет с двумя приятелями однажды сбежал из дому. Ребята забрались в открытую дверь порожнего товарного вагона и уехали миль за сорок — в город, где шла ярмарка. Один мальчик прихватил бутылку со смесью виски и черносмородинного вина, и беглецы распили ее в дверях, свесив ноги наружу. Приятели Сета пели и махали руками зевакам на станциях, мимо которых проходил поезд. Они замыслили набеги на корзины фермеров, приехавших с семьями на ярмарку. «Как короли будем жить — и ярмарку посмотрим, и бега, — и все задаром», — хвалились они.

Сет пропал, и Виргиния Ричмонд расхаживала по дому с неясной тревогой на душе. Хотя на другой день, благодаря розыскам, предпринятым начальником полиции, ей стало известно, какую авантюру затеяли ребята, она все равно не могла успокоиться. Всю ночь она лежала без сна, слушала тиканье часов и говорила себе, что Сета, как и отца его, ожидает внезапная насильственная смерть. На этот раз она твердо решила дать сыну почувствовать тяжесть своего гнева; она попросила полицию не забирать ребят, взяла карандаш, бумагу и составила ряд резких язвительных упреков, каковые намеревалась обрушить на сына. Упреки эти она заучила на память — расхаживая по саду и повторяя их вслух, как актер, разучивающий роль.

К концу недели вернулся Сет, немного усталый, с копотью в ушах и под глазами, — и она опять не нашла в себе сил отругать его. Он вошел, повесил кепку на гвоздь у кухонной двери, остановился и пристально поглядел на мать.

— Мне захотелось назад через час после того, как поехали, — объяснил он. — Я не знал, что делать. Знал, что ты будешь волноваться, но, если бы вернулся, мне было бы стыдно перед собой. Я решил, что мне полезно вытерпеть всю эту волюнку. Было неудобно — спать на мокрой соломе, да еще к нам пришли спать два пьяных негра. Я украл с телеги фермера корзинку с обедом и потом все время думал, что его дети на целый день остались без еды. Все это мне до смерти надоело, но я решил дотерпеть, пока ребята не захотят вернуться.

— Я рада, что ты дотерпел, — ответила мать не без обиды и, поцеловав его в лоб,

сделала вид, будто занята по хозяйству.

Как-то летним вечером Сет Ричмонд пошел в «Новый дом Уилларда» к приятелю Джорджу Уилларду. Днем лил дождь, но, когда Сет вышел на Главную улицу, небо уже очищалось, и запад полыхал золотом. Свернув за угол, Сет вошел в гостиницу и стал подниматься к приятелю. В конторе гостиницы хозяин и двое коммивояжеров рассуждали о политике.

Сет остановился на лестнице и прислушался к разговору внизу. Там волновались и сыпали словами. Том Уиллард нападал на гостей.

— Я сам демократ, но ваши разговоры тошно слушать. Вы не понимаете Маккинли. Маккинли и Марк Ханна — друзья. У вас, видно, в голове такое не укладывается. Если вам говорят, что дружба может быть сильнее, крепче, дороже долларов и центов, дороже политики, вы только фыркаете и смеетесь.

Хозяина перебил гость — высокий седоусый мужчина, ездивший от оптовой продовольственной компании.

— Вы что же, думаете, я столько лет живу в Кливленде и не знаю, кто такой Марк Ханна? — возмутился он. — Чепуху вы городите. Ханне подавай деньги, больше ничего. Вашим Маккинли он вертит, как хочет. Вашего Маккинли он взял на арапа — и зарубите это себе на носу.

Молодой человек не дослушал спора и поднялся в темный коридорчик. Спор внизу вызвал у него целую вереницу мыслей. Сет был одинок и уже думал, что одиночество — у него в характере, написано на роду. Он завернул в боковой коридор и остановился перед окошком, выходившим в проулок. Позади своей булочной стоял Эбнер Гроф, городской пекарь. Его маленькие воспаленные глазки бегали взад-вперед по проулку. Пекаря звали из булочной, но он делал вид, будто не слышит. Он держал в руке бутылку из-под молока и глядел сердито и угрюмо.

В Уайнсбурге про Сета говорили: «Не прост». «Вроде отца, — замечали люди, когда он проходил по улице. — Как-нибудь его прорвет. Увидите».

Из-за таких разговоров и из-за того, что взрослые и сверстники приветствовали его с невольным уважением, как обычно приветствуют немногословных людей, Сет тоже стал смотреть на себя и на жизнь иначе. Как и большинство подростков, он был сложнее, чем принято о подростках думать, — но был вовсе не таким, каким представлялся матери и горожанам. За всегдашней его молчаливостью не скрывалось глубокой жизненной цели; определенного плана жизни он не имел. Когда его товарищи шумели и ссорились, он тихо стоял в стороне. Спокойными глазами наблюдал, как они оживленно машут руками. Его не слишком интересовало, в чем там дело, и порою он спрашивал себя, а может ли его вообще что-нибудь сильно заинтересовать. Сейчас, в сумерках, у окошка, наблюдая за пекарем, он пожалел, что его не может пронять до глубины никакое чувство — ну, хоть бы угрюмый гнев, припадками которого славился пекарь. «Если бы я мог распалиться и повздорить из-за политики, как старый болтун Том Уиллард, — и то было бы лучше», — подумал он и, отвернувшись от окна, пошел к комнате своего приятеля Джорджа Уилларда.

Джордж был старше Сета Ричмонда, но в этой довольно странной дружбе именно он постоянно обхаживал младшего, а тот позволял себя обхаживать. Газета, где работал Джордж, вела одну линию. В каждом номере она стремилась упомянуть по имени как можно больше местных жителей. Словно азартная гончая, носился по городу Джордж, отмечая в блокноте, кто поехал по делу в окружной центр, кто вернулся домой из соседнего городишки. Целый день он заносил в блокнот мелкие новости. «А.-П. Ринглет получил партию соломенных шляп. Эд Баербаум и Том Маршал в пятницу ездили в Кливленд. Дядя Том Синингс строит у себя на Ложбинной дороге новый сарай».

Джорджа Уилларда прочили в писатели, поэтому он пользовался в Уайнсбурге уважением и постоянно разговаривал на эту тему с Сетом Ричмондом.

— Самая легкая жизнь на свете, — возбужденно и хвастливо объявлял он. — Повсюду ездись, сам себе начальник. Хоть в Индии, хоть на корабле в тропиках — знай себе пиши, и

все. Вот погоди, сделаюсь известным — знаешь как весело заживу?

В комнате Джорджа, выходявшей одним окном в проулок, а другим — на железную дорогу и закусочную Бифа Картера против станции, Сет Ричмонд сел на стул и потупился. Джордж Уилард, который час перед тем просидел в безделье, вертя в руках карандаш, шумно приветствовал его.

— Пробую написать рассказец о любви, — объяснил он с нервным смешком. Он раскурил трубку и стал прохаживаться по комнате. — Я знаю, что я сделаю. Я влюблюсь. Я тут сидел, обдумывал его — а теперь сам так сделаю.

Как бы застеснявшись своих слов, Джордж отошел к окну, повернулся спиной к приятелю и высунулся наружу.

— Я знаю, в кого влюблюсь, — отрывисто сказал он. — В Элен Уайт. Из всех наших девушек у нее одной есть шик.

Тут молодого Уиларда осенила новая мысль — он повернулся и подошел к гостю.

— Ты вот что, — сказал он. — Ты лучше меня знаешь Элен Уайт. Ты передай ей, что я сказал. Знаешь, заговори с ней и скажи, что я в нее влюблен. Что она на это скажет? Погляди, как она отнесется, а потом придешь и скажешь мне.

Сет Ричмонд встал и пошел к двери. Слова товарища невыносимо раздражали его.

— Ладно, всего, — бросил он.

Джорджа это удивило. Забежав вперед, он пытался разглядеть в потемках лицо Сета.

— Ты что? Куда ты собрался? Останься, давай поговорим, — убеждал он.

От злости на приятеля, на всех городских, которые только и знают, что переливать из пустого в порожнее, а пуще всего — на собственную привычку помалкивать Сет вышел из себя.

— А-а, сам с ней говори, — выпалил он, быстро вышел за дверь и захлопнул ее перед носом у приятеля. «Элен я найду и поговорю с ней только не о нем», — пробормотал Сет.

Он спустился и вышел из гостиницы, ворча от злости. Потом перешел пыльную улочку, перелез через низкие железные перила и уселся на станционной лужайке. Джорджа Уиларда он считал теперь набитым дураком и жалел, что не выразился об этом покрепче. Хотя на первый взгляд его знакомство с банкирской дочерью Элен Уайт было шапочным, Сет часто о ней думал и считал, что она ему как-то по-особому близка. «Носится, дурак, со своими любовными рассказиками, — ворчал он, оглядываясь на окна Джорджа Уиларда, — как он только не устанет от своей бесконечной болтовни».

В Уайнсбурге была пора сбора ягод: на платформе у запасного пути мужчины и подростки грузили в два багажных вагона ящики с душистыми красными ягодами. С запада заходила гроза, но июньская луна еще светила в небе, и уличных фонарей не зажгли. Фигуры людей, которые стояли на платформе и подавали ящики в двери вагонов, едва виднелись в тусклом свете. На железных перилах, ограждавших станционную лужайку, тоже сидели люди. Раскуривали трубки. Перебрасывались городскими шутками. Поезд свистнул вдалеке, и люди на погрузке ящиков зашевелились поживее.

Сет поднялся с травы, молча прошел мимо сидевших на ограде и вышел на Главную улицу. Он принял решение. «Уеду отсюда, — сказал он себе. — Что толку тут жить? Поеду в большой город, поступлю на работу. Завтра скажу об этом матери».

Сет Ричмонд медленно прошелся по Главной улице, мимо табачной лавки Уокера, мимо Городского совета и свернул на Каштановую. Его угнетала мысль, что он — посторонний в городе, но угнетала не слишком, потому что своей вины он тут не видел. Перед домом доктора Уэлинга он остановился в черной тени большого дерева и поглядел, как полоумный Турок Смолет катит по мостовой тачку. Старик, малое дитя по разуму, лихо вез на тачке десяток длинных досок, с удивительной ловкостью удерживая груз в равновесии. «Полегче здесь, Турка! Аккуратней, старый черт!» — громко подбадривал себя старик и хохотал так, что доски подбрасывало.

Сет знал Турка Смолета, не совсем безобидного старика дровосека, чьи странности очень оживляли быт города. Сет знал, что появление Турка на Главной улице вызовет целую

бурю выкриков и острот и что старик на самом деле дал большого крюка — лишь бы проехать по Главной улице и показать свое искусство в обращении с тачкой. «Был бы тут Джордж Уилард, он бы нашел что сказать, — подумал Сет. — Джордж — свой в городе. Он бы окликнул Турка, Турок откликнулся бы. Оба были бы довольны своими шутками. А я не могу. Я не свой. Шуметь я об этом не буду — но уеду отсюда».

Сет побрел в полутьме дальше, чувствуя себя изгоем в родном городе. Он было пожалел себя, но тут же понял несуразность своих огорчений и улыбнулся. И в конце концов решил, что он просто не по годам взрослый и жалеть себя нечего. «Я создан для труда. Упорным трудом я, может быть, сумею добиться положения — так почему бы мне не попробовать», — решил он.

Сет подошел к дому банкира Уайта и остановился в темноте перед дверью. На двери висел тяжелый латунный молоток — новшество, которое завела мать Элен; она же организовала еще женский клуб для изучения поэзии. Сет отвел молоток и отпустил. Молоток грохнул, как далекая пушка. «До чего же я тупой и нескладный, — подумал Сет. — Миссис Уайт откроет, а я не знаю, что сказать».

Открыла, однако, Элен — и увидела на крыльце Сета. Порозовев от удовольствия, она шагнула за дверь и тихо прикрыла ее.

— Я собираюсь уехать из города. Не знаю, кем буду, но отсюда уеду и поступлю на работу. Поеду, наверно, в Колумбус, — сказал он. — Может, поступлю там в университет. В общем, уезжаю. Сегодня скажу матери. — Он замялся и нерешительно посмотрел по сторонам. — Не хочешь пройти со мной?

Сет и Элен гуляли по улицам в тени деревьев. На луну набегали тучи, а впереди в глубоком сумраке шагал человек с лесенкой на плече. Он быстро подходил к перекрестку, приставлял лестницу к деревянному столбу и зажигал фонарь, так что пара двигалась то в свете фонаря, то в постепенно сгущавшейся тени низких древесных крон. Вершины деревьев затрепал ветер, вспугнул спавших птиц, и они взлетели с жалобными криками. На свету, возле одного фонаря, гоняясь за роем ночных мошек, носились и кружили две летучие мыши.

Еще в ту пору, когда Сет был мальчиком в коротких штанишках, между ним и барышней, которая сегодня впервые пошла с ним гулять, возникла какая-то невысказанная близость. Одно время Элен как помешанная писала ему записки. Он находил их между страницами в своих учебниках, одну ему вручил малыш на улице, несколько штук пришли по почте.

Они были написаны круглым мальчишеским почерком и обнаруживали душу, разгоряченную чтением романов. Сет на них не отвечал, хотя среди фраз, накорябанных карандашом на личной почтовой бумаге банкирши, были и лестные, и трогательные. Он совал записку в карман пальто, шел по улице или стоял у школьного забора, и ему жгло бок. Ему нравилось, что его выделяет самая богатая и миловидная девочка в городе.

Элен и Сет остановились у забора, из-за которого глядело на улицу сумрачное низкое здание. Когда-то оно было бочарной фабрикой, а теперь пустовало. На другой стороне улицы, на крыльце, вспоминали свое детство мужчина и женщина: смущенным юноше и девушке был ясно слышен их разговор. Раздался звук отодвигаемых стульев, и мужчина с женщиной подошли по гравии к деревянной калитке. Мужчина уже за калиткой нагнулся и поцеловал женщину. «В память о прежнем», — сказал он и, повернувшись, быстро ушел по тротуару.

— Это Белла Тёрнер, — шепнула Элен и смело подала руку Сету. — Я не знала, что у нее кавалер. Думала, она стара для этого.

Сет принужденно засмеялся. Рука у девушки была теплая, и с непривычки у него закружилась голова. Ему вдруг захотелось сказать то, что он сперва не хотел говорить.

— Джордж Уилард в тебя влюблен, — сказал он, и, несмотря на волнение, голос его был тихим и ровным. — Пишет рассказ и хочет влюбиться. Хочет сам почувствовать, что это значит. Просил передать тебе и посмотреть, как ты к этому отнесешься.

Элен и Сет опять шли молча. Они остановились перед садом Ричмондов, пролезли через дыру в живой изгороди и сели на скамью под кустом.

На улице, пока он шел рядом с Элен, у него возникли новые, дерзкие мысли. Он пожалел о своем решении уехать из города. «Если остаться и часто гулять по улицам с Элен Уайт — ведь это будет что-то совсем новое и замечательное», — подумал он. Он мысленно увидел, как обнимает ее за талию, и ощутил, как ее руки сомкнулись у него на затылке. Воображение, порой прихотливо связывающее действие и место, перенесло эту сцену в один уголок, где он побывал на днях. Его послали к фермеру, который жил на склоне за Ярмарочной площадью, и он возвращался полевой тропинкой. У подошвы холма, ниже дома фермера, он остановился под платаном и поглядел вокруг. Его уши наполнило мягкое жужжание. Он даже подумал, что на дереве поселился пчелиный рой.

Потом, поглядев под ноги, Сет увидел, что в буйной зелени вокруг него действительно кишат пчелы. Он стоял на лугу, сбегавшем с холма, и густая трава доходила ему до пояса. Трава цвела крохотными багровыми цветочками и одуряюще пахла. В траве трудилось войско пчел и пело за работой.

Сету представилось, что летним вечером он лежит под этим деревом, зарывшись в траву. Рядом с ним лежит Элен Уайт, и он держит ее за руку. Что-то непонятное мешает ему поцеловать ее в губы, но он чувствует, что мог бы, если бы пожелал. Однако он лежит не шевелясь, глядит на Элен и слушает пчелиное войско — уверенную и протяжную песню труда.

Сет беспокойно заерзал на садовой скамье. Он отпустил руку девушки и сунул руки в карманы брюк. Ему захотелось поразить спутницу значительностью своего нового решения, и он кивнул на дом.

— Мать, наверно, поднимет шум, — шепнул он. — Она никогда не задумывалась, что я буду делать в жизни. Думает, я останусь здесь навсегда, и притом — мальчишкой.

Голос Сета был полон мальчишеской важности.

— Понимаешь, пора двигать отсюда. Надо приниматься за дело. Я для этого гожусь.

На Элен его слова произвели сильное впечатление. Девушка кивнула; сейчас она восхищалась Сетом. «Вот как надо, — подумала она. — Этот мальчик — вовсе не мальчик, а сильный, целеустремленный мужчина». Неотчетливые желания, наполнившие ее тело, схлынули; она резко выпрямилась на скамье. Вдалеке по-прежнему погромыхивал гром, и в восточной стороне неба вспыхивали зарницы. Сад, прежде такой громадный и таинственный, обещавший стать благодаря Сету театром небывалых и чудесных приключений, теперь казался самым обыкновенным городским задворком, с очевидными и близкими границами.

— Что ты собираешься там делать? — прошептала она.

Сет полуобернулся на скамье, пытаясь разглядеть в темноте ее лицо. Он решил, что она несравненно разумнее и честнее Джорджа Уиларда, и был рад, что ушел от приятеля. Вновь вернулась прежняя досада на город, и он попытался объяснить ее девушке:

— Разговоры, разговоры. Тошно слушать. Займусь делом, найду такую работу, где разговоры не в счет. Ну, хоть механиком в мастерской. Не знаю. Мне это не так важно. Лишь бы работать, и поменьше разговоров. Мне больше ничего не надо.

Сет поднялся со скамейки и подал ей руку. Ему не хотелось заканчивать свидание, но он не знал, о чем дальше говорить.

— Сегодня мы видимся в последний раз, — прошептал он.

Элен растрогалась. Она положила руку на плечо Сета и, подставив ему лицо, потянула его голову к себе. Ею двигала искренняя нежность и скорбь о том, что какое-то приключение, к которому невянятно склоняла ночь, теперь уже никогда не осуществится.

— Я, пожалуй, пойду, — сказала она, бессильно уронив руку. Ей пришла в голову мысль. — Ты меня не провожай, я хочу побыть одна. Иди лучше поговори со своей мамой. Не стоит откладывать.

Сет смутился, и, пока он стоял и мешкал, девушка повернулась и убежала через дыру в изгороди. Сету захотелось кинуться вдогонку, но он только стоял и смотрел, смущенный и

озадаченный ее поступком — как смущен и озадачен был всей жизнью города, откуда она явилась. Он медленно побрел к дому, остановился под большим деревом и стал смотреть в освещенное окно, где сидела мать и усердно шила. Ощущение одиночества, уже посетившее его сегодня вечером, опять вернулось, по-особому окрасив мысли о недавнем приключении.

— Хм! — сказал он, повернувшись и глядя в ту сторону, где скрылась Элен Уайт. — Тем и кончится. Она будет как все. Теперь, наверно, и на меня будет смотреть, как на чудного. — Он упер взгляд в землю и задумался еще глубже. — Будет стесняться при мне, чувствовать себя неловко, — прошептал он. — Так и будет. Тем все и кончится. Как до любви дойдет — я буду ни при чем. Влюбится в кого-нибудь другого... в какого-нибудь дурака... в какого-нибудь разговорчивого... в какого-нибудь Джорджа Уилларда.

ТЭНДИ

Перевод Н. Бать

До семи лет она жила в некрашеном ветхом доме на старой дороге, которая вела в сторону от Вертлюжной заставы. Отец ею почти не занимался, а мать давно умерла. Отец был занят размышлениями и разговорами о религии. Он объявил себя агностиком и так увлекся борьбой с понятиями о Боге, гнездившимися в головах соседей, что вовсе не замечал Божьего создания подле себя, и его заброшенный ребенок ютился из милости то у тех, то у других родственников покойной матери.

Однажды в Уайнсбурге появился приезжий, и он увидел в девочке то, чего не видел отец. Это был молодой человек, высокий, рыжеволосый и почти всегда пьяный. Иной раз он приходил посидеть перед гостиницей с Томом Хардом, отцом девочки. Том разглагольствовал, утверждая, что Бога нет, а приезжий улыбался и одобрительно подмигивал слушателям. Он подружился с Томом, и они часто бывали вместе.

Приезжий был сыном богатого торговца из Кливленда. В Уайнсбург он приехал с особой целью. Он хотел излечиться от пьянства и надеялся, что здесь, в провинциальном захолустье, вдали от городских приятелей, ему будет легче бороться с этим губившим его пороком.

Однако пребывание в Уайнсбурге не принесло пользы. От скуки он только запил пуще прежнего. Но все же кое-что сделать в Уайнсбурге ему удалось. Он дал имя дочери Тома Харда, имя, полное значения.

Однажды после долгого запоя приезжий, пошатываясь, брел по Главной улице. Том Хард сидел на стуле перед гостиницей с дочкой на коленях девочке было тогда пять лет. Тут же, прямо на деревянном тротуаре, сидел юный Джордж Уиллард. Приезжий мешком бухнулся на стул. Он весь трясся, а когда заговорил, голос его дрожал.

Был поздний вечер. Тьма легла на город и на полотно железной дороги, протянувшейся у подножья небольшого холма, на котором стояла гостиница. Где-то вдалеке на западе протяжно запел гудок пассажирского поезда. Спавшая на дороге собака вскочила и залаяла. Приезжий стал что-то бормотать, и в бессвязной болтовне были пророческие слова о судьбе девочки, лежавшей на руках у агностика.

— Я приехал сюда, думал — брошу пить... — проговорил пьяница, и по щекам его покатались слезы. Он не смотрел на Тома Харда, а, сгорбившись, уставился во тьму, словно узрел видение. — Я убежал из города, думал исцелюсь... но нет исцеления... И я знаю почему. — Он повернулся к девочке, которая смотрела на него в упор, выпрямившись на коленях отца. Приезжий тронул Тома Харда за руку. — Ведь я страдаю не только от пьянства, — сказал он. — Тут еще другое... Во мне живет любовь, да только я не встретил своей любимой... Вот в чем суть... если вы понимаете, что это значит. Поэтому-то мне теперь все равно конец. Немногие могут меня понять...

Подавленный тоской, умолкнув, он сидел неподвижно, но дальний гудок паровоза

снова вывел его из оцепенения.

— Я еще не потерял надежды. Слышите? Не потерял!.. Только я понял, что здесь ей не суждено исполниться, — произнес он хрипло. Теперь он пристально смотрел на девочку и обращался к ней одной. — Вот растет еще одна женщина. — Его голос стал сильным и ясным. — Но она не для меня. Она родилась слишком поздно. Может быть, ты и есть та, которую я ишу... И вот судьбе угодно свести меня с нею в этот вечер, когда я извел себя пьянством, а она еще малый ребенок...

Плечи его сотрясались от рыданий, и, когда он попытался свернуть папироску, бумага выпала из его дрожащих пальцев. В сердцах он чертыхнулся.

— Думают, легко быть женщиной, легко быть любимой... Я-то знаю, каково оно. — Он снова повернулся к девочке. — Я-то знаю! — вскричал он. — Быть может, из всех мужчин только я один это понимаю.

И снова взор его стал блуждать по темной улице.

— Я знаю о ней все, хотя она никогда не встречалась на моем пути, мягко проговорил он. — Я знаю о ее борьбе и ее страданиях, и вот за эти-то страдания она мне так дорога. Страдания изменили ее, она стала иной, и у меня есть для нее имя. Я назвал ее Тэнди. Это имя пришло ко мне в те дни, когда я умел мечтать, когда тело мое еще не осквернял порок. В моей Тэнди есть сила, которая не боится любви... Это именно то, что мужчины ищут в женщинах и чего они не находят.

Приезжий поднялся и подошел к Тому Харду. Он едва стоял на ногах, казалось, он вот-вот упадет. Вдруг он опустился на колени и, схватив руки девочки, стал покрывать их пьяными поцелуями.

— Будь Тэнди, малютка, — просил он. — Будь сильной и смелой. Вот твой путь. Ничего не бойсь. Дерзай быть любимой! Будь больше, чем просто женщина! Будь Тэнди!

Приезжий встал и поплелся прочь. Дня через два он сел в поезд и уехал обратно в Кливленд.

Вскоре после необычного разговора у гостиницы Том Хард повел девочку к родственникам, которые пригласили ее ночевать. Он шел в темноте под деревьями, совсем позабыв пьяную болтовню приезжего. Он снова был поглощен доводами, с помощью которых мог бы победить веру людей в Бога. Он назвал дочь по имени, но она вдруг заплакала.

— Не хочу, чтоб меня так звали! — вскричала она. — Хочу быть Тэнди! Тэнди Хард!

Отца тронули слезы девочки, и он старался ее утешить. Том Хард остановился перед деревом, взял дочь на руки и попытался уговорить ее.

— Ну полно, будь умницей, — строго сказал он наконец.

Но она все не унималась.

С детским самозабвением отдалась она своему горю, и плач ее нарушал безмолвие улицы.

— Хочу быть Тэнди, хочу быть Тэнди, хочу быть Тэнди Хард! — кричала она, мотая головой и рыдая с таким отчаянием, словно видение, созданное словами пьяницы, разрывало ее детское сердце.

СИЛА БОЖЬЯ

Перевод В. Голышева

Пастор Кёртис Хартман служил в пресвитерианской церкви Уайнсбурга уже десять лет. Это был сорокалетний человек, крайне молчаливый и замкнутый. Проповедовать с амвона, стоя перед народом, всегда было для него испытанием, и со среды до субботнего вечера он не мог думать ни о чем, кроме тех двух проповедей, которые надо прочесть в воскресенье. В воскресенье рано утром он уходил в кабинет — комнатушку на колокольне — и молился. В

молитвах его преобладала одна нота. «Дай мне силы и смелости для труда Твоего, Господи!» — просил он, стоя коленями на голом полу, и склонял голову перед делом, которое его ожидало.

Кёртис Хартман был высокий мужчина с каштановой бородой. Его жена, толстая нервная женщина, была дочерью фабриканта нижнего белья из Кливленда. К самому священнику в городе относились хорошо. Церковные старейшины одобряли его за то, что он спокойный и скромный, а жена банкира Уайта считала его образованным и культурным.

Пресвитерианская церковь держалась несколько особняком от других церквей Уайнсбурга. И здание ее было больше, внушительней, и священнику платили лучше. У него был даже собственный выезд, и летними вечерами он иногда катался с женой по городу. Ехал по Главной улице, туда и обратно по Каштановой, степенно кланялся встречным, а жена в это время, тайно млея от гордости, поглядывала на него краем глаза и опасалась, как бы лошадь не понесла.

Много лет после приезда в Уайнсбург дела у Кёртиса Хартмана шли благополучно. Прихожан у себя в церкви он, правда, не воспламенял, но и врагов себе не нажил. Служил с душой и порою подолгу мучился угрызениями, что не способен ходить и выкликать Слово Божье на улицах и в закоулках города. Он сомневался, горит ли в нем действительно духовный жар, и мечтал о том дне, когда неодолимый и сладостный прилив свежих сил ворвется в его голос и душу подобно ветру и люди задрожат перед духом Божиим, явленным через него. «Я — жалкая чурка, и никогда мне этого не дожидаться, — уныло размышлял пастор, но вскоре лицо его освещалось терпеливой улыбкой. — А впрочем, я как будто справляюсь», — философски добавлял он.

Комната в колокольне, где воскресными утрами священник молился об увеличении в нем Божьей силы, была с одним окном. Высокое и узкое, оно отворялось наружу, как дверь. На окне, составленном из маленьких стеклышек в свинцовом переплете, был изображен Христос, возложивший руку на голову ребенка. Однажды летним воскресным утром, сидя за столом с раскрытой Библией и листками будущей проповеди, пастор, к возмущению своему, увидел в верхней комнате соседнего дома женщину, которая лежала на кровати с книжкой и при этом курила сигарету. Кёртис Хартман подошел на цыпочках к окну и тихо прикрыл его. Пастор ужаснулся мысли, что женщина может курить, и с содроганием думал, что стоило его глазам оторваться от божественной книги, как они увидели голые женские плечи и белую шею. В смятении чувств он взошел на амвон и произнес длинную проповедь, ни разу не задумавшись о своих жестах и голосе. Проповедь, из-за ее силы и ясности, слушали как никогда внимательно. «Слушает ли она, достигнет ли до ее души моя проповедь?» — спрашивал себя пастор и уже надеялся, что, может быть, в следующие воскресенья сумеет найти слова, которые тронут и пробудят женщину, видимо погрязшую в тайном грехе.

Соседний с церковью дом, в окнах которого священник увидел это огорчительное зрелище, занимали две женщины. Элизабет Свифт, седая, деловитая вдова со счетом в Уайнсбургском национальном банке, и ее дочь, учительница Кейт Свифт. У тридцатилетней учительницы была стройная, подтянутая фигура. Друзей у нее было мало; считалось, что она остра на язык. Когда Кёртис Хартман стал думать об учительнице, он вспомнил, что она ездила в Европу и два года прожила в Нью-Йорке. «В конце концов курение может еще ничего не значить», — размышлял он. Он вспомнил, что в студенческие годы, когда ему случалось читать романы, в руки ему попала одна книга, где из страницы в страницу курили порядочные, хотя и несколько суетные женщины. В горячке небывалого воодушевления он проработал над проповедями всю неделю и, усердствуя достичь до слуха и души прихожанки, забыл и смутиться на амвоне, и помолиться в воскресенье утром в кабинете.

По части женщин опыт у пастора Хартмана был небогатый. Он был сыном тележника из Манси в штате Индиана и на учение в колледже зарабатывал сам. Дочь бельевого фабриканта снимала комнату в том же пансионе, где он жил студентом, и женился он на ней после продолжительного и чинного ухаживания, бремя которого девушка взяла в основном на себя. На свадьбу бельевой фабрикант подарил дочери пять тысяч долларов и пообещал

оставить после себя по крайней мере вдвое больше. Священник считал, что ему посчастливилось в браке, и никогда не позволял себе думать о других женщинах. Не хотел думать о других женщинах. Хотел он только служить Богу, тихо и прилежно.

В душе священника началась борьба. Из желания достигнуть до слуха Кейт Свифт и проповедями внедриться в ее душу возникло желание опять поглядеть, как лежит на кровати белое, спокойное тело. Однажды воскресным утром, когда мысли не давали ему спать, он встал и пошел бродить по городу. Дойдя по Главной улице почти до дома Ричмондов, он остановился, подобрал камень и помчался обратно, в комнату на колокольне. Он выбил камнем уголок в окне, а потом запер дверь и сел перед столом с раскрытой Библией — ждать. Когда в окне Кейт Свифт поднялась занавеска, он увидел через дырку как раз ее постель — но самой женщины там не было. Она тоже встала и пошла гулять; рука же, поднявшая занавеску, была рукою вдовы Элизабет Свифт.

Священник чуть не расплакался от радости, что избежал соблазна подглядывать, — и пошел к себе домой, славя Господа. В недобрую минуту, однако, забыл он заткнуть дыру в окне. Выбитый уголок подрезал босую пятку мальчика, который замер перед Христом, зачарованно глядя ему в лицо.

В то воскресенье Кёртис Хартман забыл свою утреннюю проповедь. Он беседовал с прихожанами и в беседе сказал, что люди ошибаются, полагая, будто их пастырь выделен природой как человек, предназначенный для безупречной жизни.

— По собственному опыту знаю, что нас, служителей Слова Божия, подстерегают те же искушения, какие осаждают вас, — объявил он. — Я был искушаем — и поддался искушению. И только Господь поднял меня, простерши руку мне под голову. Так же и вас он подымет, как меня поднял. Не отчаивайтесь. В час греха подымите глаза ваши к небу и спасены будете опять и опять.

Мысли о раздетой женщине священник решительно отбросил, а с женой стал вести себя на манер влюбленного. Однажды вечером, когда они катались, он свернул с Каштановой улицы и на темном Евангельском холме, над Водозаборным прудом, обнял Сару Хартман за талию. Утром, съев завтрак, он, перед тем как удалиться в кабинет в задней части дома, обошел вокруг стола и поцеловал жену в щеку. Когда в голове у него возникали мысли о Кейт Свифт, он улыбался и поднимал глаза к небу. «Господи Владыка, заступись за меня, бормотал он, — удержи на пути усердия в труде Твоем».

И в душе бородатого священника борьба разгорелась теперь не на шутку. Случайно он обнаружил, что Кейт Свифт имеет обыкновение по вечерам лежать на кровати с книжкой. Подле кровати на столике стояла лампа, и свет лился на белые плечи и обнаженную шею женщины. В вечер, когда было сделано это открытие, священник просидел в кабинете с девяти до начала двенадцатого; как только погас у нее свет, он, спотыкаясь, вышел из церкви и еще два часа бродил по улицам, творя молитвы. Он не хотел целовать плечи и шею Кейт Свифт и не позволял себе задерживаться на таких мыслях. Он сам не знал, чего он хочет. «Я чадо Божье, и Он должен спасти меня от меня самого!» восклицал священник в темноте под деревьями. Остановившись возле дерева, он поглядел на небо, по которому мчались тучи. Он заговорил с Богом искренне и душевно. «Прошу тебя, Отче, не забывай меня. Дай мне сил пойти завтра и заделать дыру в окне. Обрати мои глаза опять к небу. Не оставь раба Твоего в час нужды».

Взад и вперед ходил по тихим улицам священник; дни и недели не утихала в его душе смута. Не понимал он, что это за напасть, не мог постигнуть ее причину. Косвенно он даже стал упрекать Бога, говоря себе, что старался не сбиться с истинного пути, не искал греха. «Всю мою молодость и все годы здесь я смиренно делал мою работу, — роптал он. — За что же мне искушение? Чем провинился, что на меня наложено это бремя?»

Трижды в начале осени и зимой этого года украдкой приходил из дома в комнату на колокольне Кёртис Хартман: сидел в темноте, смотрел на раздетую учительницу, а потом бродил по улицам и молился. Он не мог себя понять. Неделями он почти не вспоминал об учительнице и говорил себе, что победил плотское желание глядеть на ее тело. А потом

что-то случилось. Он сидел в кабинете у себя дома, прилежно работал над проповедью и вдруг начинал беспокойно расхаживать по комнате. «Выйду-ка на улицу, — говорил он и, даже открывая церковную дверь, упорно не признавался себе, зачем он здесь. — Я не заделаю дыру в окне и приучу себя приходить сюда вечером, сидеть поблизости от этой женщины и не поднимать на нее глаз. Я не сдамся. Господь замыслил это искушение, чтобы испытать мою душу, и я нащупаю путь из тьмы на свет праведности».

Январским вечером, в лютый мороз, когда на улицах Уайнсбурга лежал глубокий снег, священник сделал последний визит в комнату на колокольне. Вышел он из дому в десятом часу и так торопился, что позабыл галоши. На Главной улице не было ни души, кроме ночного сторожа Хопа Хигинса, да и во всем городе не спали только сторож и молодой Джордж Уилард, который сидел в редакции «Уайнсбургского орла» и пытался сочинить рассказ. Шел по улице в церковь священник, пробирался по сугробам и думал, что на этот раз он всецело предается греху. «Я хочу смотреть на женщину и думать о том, как целую ей плечи, и я позволю себе думать, о чем хочу, — ожесточенно провозгласил он, и у него потекли слезы. Он стал думать, что сложит с себя сан и поищет другой дороги в жизни. — Уеду в большой город и займусь коммерцией, — сказал он. — Коли природа моя такова, что не могу греху противиться, так отдамся же греху. Хоть пустосвятом не буду, а то на устах у меня Слово Божие, а на уме плечи и шея женщины, которая мне не принадлежит».

В ту январскую ночь на колокольне было холодно, и, едва войдя в комнату, Кёртис Хартман понял, что если останется здесь, то заболеет. Ноги у него промокли от ходьбы по снегу, а печки не было. В доме напротив Кейт Свифт еще не появилась. С мрачной решимостью он уселся ждать. Сидя на стуле и вцепившись в края стола, на котором лежала Библия, он смотрел в темноту, и в голове у него проходили самые черные мысли за всю его жизнь. Сейчас он думал о своей жене чуть ли не с ненавистью. «Она всегда стыдилась страсти, и она обездолила меня, — думал пастор. — Человек вправе ждать от женщины живой страсти и красоты. Он не вправе забывать, что он животное; вот и во мне — есть же что-то от эллина. Я вырву эту женщину из моего сердца и буду искать других женщин. Буду осаждать учительницу. Я брошу вызов людям и, коль скоро я — раб плотских вожделений, ради вожделений и стану жить».

Отчаявшийся пастор дрожал всем телом — и от холода, и оттого, что в душе у него был разброд. Текли часы, и лихорадка забирала его тело. У него болело горло и стучали зубы. Ноги на полу кабинета окоченели. Но он не желал сдаваться. «Я увижу эту женщину и буду думать о том, о чем никогда не смел думать», — говорил он себе, вцепившись в край стола, и ждал.

Кёртис Хартман чуть не умер от последствий этого ночного ожидания на колокольне — и в том, что произошло, прозрел, как ему казалось, свой жизненный путь. В прошлые вечера ему удавалось разглядеть через маленькую дыру в окне только ту часть комнаты, где стояла кровать учительницы. Он ждал в темноте — и вот на кровати появлялась женщина в белой ночной рубашке. Она прибавляла огня в лампе и, подпершись подушками, принималась за книгу. Иногда курила сигарету. Видны были только белые плечи и шея.

В январскую ночь, когда он чуть не замерз насмерть и ум его раза два или три по-настоящему уносился в причудливый мир фантазий, так что лишь усилием воли он возвращал себя к действительности, Кейт Свифт все же появилась. В комнате зажегся свет, и взгляд пастора уткнулся в пустую кровать. Потом на глазах у него в постель бросилась голая женщина. Лежа ничком, она плакала и колотила кулаками по подушке. Зарыдав напоследок, она привстала и на глазах у мужчины, который хотел подглядывать и предаваться мыслям, грешница начала молиться. В свете лампы ее стройная сильная фигура напоминала фигуру мальчика, замершего перед Спасителем на витраже колокольни.

Кёртис Хартман не помнил, как он покинул колокольню. Он вскочил с криком, протаскивая по полу тяжелый стол. С оглушительным в тишине грохотом упала Библия. Когда свет в доме напротив погас, священник скатился по лестнице и выскочил на улицу. Шел по улице, вбежал в редакцию «Уайнсбургского орла». С Джорджем Уилардом, который топал

взад и вперед по комнате, тоже переживая внутренний раздор, заговорил почти бессвязно.

— Пути Господни неисповедимы! — закричал он, ворвавшись в комнату и захлопнув дверь. С горящими глазами он наседали на молодого человека, в его голосе звенела истовость. — Я обрел свет, — кричал он. — Десять лет прожил в этом городе — и Бог явил Себя мне в теле женщины. — Голос его упал до шепота. — Я не понимал. Я думал, что Он испытывает мою душу, а Он готовил меня для нового и более прекрасного духовного подвига. Бог явился мне в образе Кейт Свифт, учительницы, когда она стояла, нагая, на коленях в постели. Знаете вы Кейт Свифт? Может быть, сама того не ведая, она — орудие Божие, посланница истины.

Пастор Кёртис Хартман повернулся и побежал из редакции. В дверях он остановился, окинул взглядом безлюдную улицу и снова повернулся к Джорджу Уиларду.

— Я спасен. Не страшитесь. — Он показал молодому человеку окровавленный кулак. — Я разбил стекло в окне, — крикнул он. — Теперь его придется заменить целиком. Сила Божья снизошла на меня, я разбил его кулаком.

УЧИТЕЛЬНИЦА

Перевод В. Голышева

На улицах Уайнсбурга лежал глубокий снег. Снег пошел часов в десять утра, поднялся ветер и тучами гнал снег по Главной улице. Грязные проселки, сходящиеся к городу, выровнял мороз, и кое-где грязь затянуло льдом.

— Сани готовь, — сказал Уилл Хендерсон возле стойки в салуне Эда Грифита.

Он вышел из салуна и повстречался с аптекарем Сильвестром Уэстом, который брел навстречу в громоздких ботах «арктика».

— В субботу по снежку люди в город понаедут, — сказал аптекарь.

Мужчины остановились и начали толковать о своих делах. Уилл Хендерсон, в легком пальто и без бот, постукивал носком о пятку.

— Снег — пшенице на пользу, — глубокомысленно заметил аптекарь.

Молодому Джорджу Уиларду нечего было делать, и он был этому рад, потому что работать ему сегодня не хотелось. Еженедельную его газету отпечатали и свезли на почту в среду вечером, а снег пошел в четверг. В восемь часов, когда проехал утренний поезд, он сунул в карман коньки и отправился на Водозаборный пруд, но кататься не стал. Пошел мимо пруда и по тропке вдоль Винной речки в дубовую рощу. Развел костер возле бревна, сел на край бревна и задумался. Когда повалил снег и подул ветер, он бросился собирать дрова для костра.

Молодой репортер думал о Кейт Свифт, бывшей своей учительнице. Вчера вечером он ходил к ней за книгой, которую она советовала прочесть, и час провел с ней наедине. Уже в четвертый или пятый раз она заводила с ним очень серьезные разговоры, и он не мог сообразить, к чему бы это. Он уже подумывал, не влюбилась ли она в него; эта мысль и грела его, и раздражала.

Джордж вскочил с колоды и подбросил сучьев в костер. Оглядевшись точно ли нет никого поблизости, — он заговорил вслух с таким видом, будто говорит с ней.

— А-а, прикидываетесь, нечего отпираться, — проговорил он. — Я вас выведу на чистую воду. Погодите у меня.

Молодой человек встал и пошел по тропинке к городу, оставив в лесу пылающий костер. Когда он шел по улицам, в кармане у него звякали коньки. У себя в комнате в «Новом доме Уиларда» он растопил печку и лег на кровать. У него зародились похотливые мысли, он опустил штору, закрыл глаза и повернулся лицом к стене. Он обнял подушку, прижал к груди и стал думать сперва об учительнице, которая что-то разбудила в нем своими словами, а после — об Элен Уайт, стройной дочери местного банкира, в которую он уже

давно был полувлюблен.

К девяти часам вечера улицы тонули в глубоком снегу, и мороз лютовал. Ходить стало трудно. Окна магазинов погасли, и люди расплзлись по домам. Вечерний поезд из Кливленда пришел с большим опозданием, но никому не было до него дела. В десять часов из тысячи восьмисот жителей только четверо не легли спать.

Ночной сторож Хоп Хигинс не спал отчасти. Он был хромым и ходил с тяжелой палкой. В темные ночи он брал фонарь. Обход он делал между девятью и десятью. Ковыляя по сугробам, он прошел Главную улицу из конца в конец и проверил двери магазинов. Потом обошел задворки и проверил черные двери. Все оказались заперты; он не мешкая свернул за угол к «Новому дому Уиларда» и постучал в дверь. Остаток ночи он намеревался скоротать возле печки.

— Ложись спать. За печкой я присмотрю, — сказал он мальчику-коридорному, ночевавшему на койке в конторе гостиницы.

Хоп Хигинс сел у печки и стащил башмаки. Когда мальчик улегся спать, он стал думать о своих делах. Весной он собирался покрасить дом и, сидя у печки, начал подсчитывать, во что обойдется краска и работа. Отсюда он перешел к другим вычислениям. Ночному сторожу стукнуло шестьдесят, и он хотел уйти на покой. Участник Гражданской войны, он получал небольшую пенсию. Хоп надеялся найти дополнительный источник доходов и решил стать профессиональным хорьководом. В подвале у него уже жили четыре этих странно сложенных свирепых зверька, с которыми любители охотятся на кроликов. «Сейчас у меня самец и три самочки, — размышлял он. — Если повезет, к весне у меня будет голов двенадцать — пятнадцать. Через год смогу давать объявления о продаже в охотничьих газетах».

Ночной сторож уместился в кресле, и в сознании его наступил перерыв. Он не спал. Многолетней практикой он выработал навык просиживать долгие часы ночного дежурства ни спя, ни бодрствуя. К утру он успевал так отдохнуть, как будто выспался.

Исключая Хопа Хигинса, надежно определившегося в кресле за печкой, во всем Уайнсбурге не спали теперь только трое. Джордж Уилард сидел в редакции «Орла», делал вид, будто пишет рассказ, а на самом деле предавался тому же, чему и утром в лесу, у костра. На колокольне пресвитерианской церкви сидел пастор Хартман, приготавливаясь к Божиему откровению, а учительница Кейт Свифт как раз выходила из дому, погулять в пургу.

На улицу она отправилась в одиннадцатом часу, и прогулка эта явилась неожиданностью для нее самой. Получилось так, будто мужчина и юноша тем, что думали о ней, выгнали ее на мороз. Вдова Элизабет Свифт уехала в окружной центр по делам, связанным с ипотечными операциями, в которые она вкладывала деньги, и вернуться должна была только завтра. У громадной угольной печи в гостиной сидела с книжкой ее дочь. Вдруг она вскочила, схватила с вешалки у двери накидку и выбежала из дома.

Тридцатилетнюю учительницу в Уайнсбурге не считали интересной женщиной. У нее был плохой цвет лица, и пигментные пятна говорили о слабом здоровье. И все же ночью, на пустынной морозной улице, она была хороша собой. У нее была прямая спина, крутые плечи, а чертами лица она напоминала маленькую парковую статую богини в летние сумерки.

Днем учительница показывалась доктору Уэлингу. Доктор выбранил ее и предупредил, что ей угрожает потеря слуха. Глупо было с ее стороны выходить в пургу из дома — глупо, да и опасно, пожалуй.

На улице Кейт Свифт не вспомнила это предостережение, а если бы и вспомнила, все равно бы не повернула назад. Она очень замерзла, но, прошагав минут пять, притерпелась к холоду. Она прошла до конца своей улицы и мимо сенных весов, установленных перед фуражным складом, вышла на Вертлюжную дорогу. У амбара Неда Уинтерса она свернула на восток, на улицу, застроенную низкими деревянными домами, которая привела ее на Евангельский холм и на Волчковую дорогу, спускавшуюся по мелкой лощине мимо птицефермы Айка Смида к Водозаборному пруду. Пока она шла, задор и беспокойство,

выгнавшие ее на улицу, покинули ее, а потом вновь вернулись.

В характере Кейт Свифт было что-то колючее, нерасполагающее. Это все чувствовали. В классе она была немногословна, строга, холодна, но, странным образом, при всем этом близка с учениками. Изредка на нее словно что-то находило, и настроение у нее становилось радостным. Эту радость разделяли все ученики в классе. Они разваливались на стульях, не работали и смотрели на учительницу.

Сцепив руки за спиной, Кейт Свифт расхаживала по классу и очень быстро говорила. Что за тема приходила ей в голову — по-видимому, не имело значения. Однажды она беседовала с детьми о Чарльзе Лэме и сочинила на ходу странные интимные рассказы из жизни покойного писателя. Рассказы эти были поданы так, словно она жила с Чарльзом Лэмом в одном доме и знала все подробности его частной жизни. Это несколько сбilo с толку детей, которые решили, что Чарльз Лэм тоже, наверное, был местный.

На другом уроке учительница рассказала о Бенвенуто Челлини. На этот раз они смеялись. Каким хвастливым, шумным храбрецом и милягой изобразила она старого мастера! И тут она тоже придумала анекдоты. Один — про немца, учителя музыки, который жил в комнате над Челлини в городе Милане, — вызвал у ребят хохот. Краснощекий толстяк Сахар Макнатс до того смеялся, что у него закружилась голова и он упал со стула, а Кейт Свифт смеялась вместе с ним. И вдруг опять сделалась строгой и холодной.

Та зимняя ночь, когда Кейт Свифт бродила по безлюдным заснеженным улицам, пришлась на бурное время в ее жизни. Хотя никто в Уайнсбурге не заподозрил бы этого, жизнь ее всегда была богата приключениями. Богата была и теперь. Из дня в день, пока она вела урок или бродила по улицам, печаль, надежда, вожделение сражались в ее груди. Под холодной оболочкой — в душе происходили самые необычайные события. Горожане считали ее безнадежной старой девой и, оттого что она разговаривала резко и во всем поступала по-своему, считали, что ей недостает человеческих чувств, которые так украшают или портят жизнь им самим. На самом же деле нетерпеливой страстностью она превосходила их всех, и за те пять лет, что она учительствовала в Уайнсбурге, вернувшись из своих странствий, душевные бури не раз выгоняли ее из дому и заставляли до глубокой ночи бродить по городу. Однажды дождливой ночью она отсутствовала шесть часов, а когда вернулась, мать стала ругать ее.

— Я рада, что ты не мужчина, — сердито сказала она. — Сколько раз я так дожидалась твоего отца и ломала голову, в какую опять он ввязался историю. Хватит с меня тех волнений — и не обижайся, если я не желаю видеть, как самые плохие его черты повторяются в тебе.

* * *

Кейт Свифт была воспламенена мыслями о Джордже Уилларде. В каких-то его школьных сочинениях она усмотрела искру гения — и ей хотелось эту искру раздуть. Однажды летом она явилась в редакцию «Орла» и, поскольку юноша был ничем не занят, увела его на Главную улицу, а потом на Ярмарочную площадь, где они сели на поросшем травой склоне и начали разговаривать. Учительница хотела дать ему представление о тех трудностях, которые ожидают его на писательском поприще.

— Тебе понадобится знание жизни, — объявила она с такой серьезностью, что у нее задрожал голос. Она взяла Джорджа Уилларда за плечи и повернула, чтобы смотреть ему в глаза. Прохожий подумал бы, что они сейчас обнимутся. — Если ты намерен стать писателем, нельзя баловаться словами, — объяснила она. — Лучше отставить мысли о писательстве, пока не будешь к этому подготовлен. Сейчас — время просто жить. Не хочу тебя запугивать, но надо, чтобы ты осознал важность того, за что ты берешься. Нельзя превращаться в словесного менялу. Научись узнавать, что думают люди, а не что говорят.

В четверг вечером, перед той вьюжной ночью, когда священник Кёртис Хартман пришел на колокольню, чтобы поглядеть на ее тело, молодой Уиллард зашел к учительнице за

книжкой. Тут и случилось то, что смутило и озадачило юношу. Он взял книгу под мышку и уже собирался уйти. Снова Кейт Свифт заговорила с чрезвычайной серьезностью. Наступал вечер, в комнате стало сумрачно. Когда он повернулся к двери, она ласково назвала его по имени и порывисто взяла за руки. Молодой репортер стремительно превращался в мужчину, и мужская его притягательность, еще сочетавшаяся с мальчишеским обаянием, взволновала одинокую женщину. Ей захотелось, чтобы он немедленно понял ценность жизни, научился толковать ее правдиво и честно. Она наклонилась вперед, ее губы скользнули по его щеке. Сейчас он впервые обратил внимание на редкую красоту ее лица. Оба смутились, и, спасаясь от этого, она опять взяла резкий, безапелляционный тон.

— Что толку? Десять лет пройдет, пока ты начнешь понимать суть того, о чем я тебе толкую, — с горячностью сказала она.

* * *

Этой ночью, когда разыгралась вьюга, а священник уже сидел на колокольне в ожидании Кейт Свифт, она зашла в редакцию «Уайнсбургского орла», намереваясь еще раз поговорить с юношей. После долгой ходьбы по снегу она устала, замерзла и чувствовала себя одинокой. Проходя по Главной улице, она увидела под окном типографии яркое пятно света на снегу и, неожиданно для самой себя, открыла дверь и вошла. Она час просидела возле печки — и говорила о жизни. Говорила горячо и серьезно. Побуждение, которое выгнало ее из дому в метель, вылилось теперь в слова. Она ощущала подъем, как иногда перед детьми в школе. Ей не терпелось распахнуть дверь жизни перед юношей, у которого, она полагала, может быть талант понимания жизни. Порыв этот был таким страстным, что выразился физически. Опять она взяла Джорджа за плечи и повернула к себе. В полутьме ее глаза горели. Она встала и засмеялась, но не резко, как с ней бывало обычно, а со странной нерешительностью.

— Мне надо уходить, — сказала она. — Еще на минуту останусь — и мне захочется тебя поцеловать.

В редакционной комнате воцарилось смятение. Кейт Свифт повернулась и пошла к двери. Она была учительницей, но, кроме того, женщиной. Она смотрела на Джорджа Уиларда, и ею вновь овладело страстное желание мужской любви, сотни раз уже затоплявшее ее тело. При свете лампы Джордж выглядел уже не мальчиком, а мужчиной, способным исполнить роль мужчины.

Учительница позволила Джорджу Уиларду обнять себя. В натопленной тесной комнате вдруг стало душно, и силы покинули ее тело. Она ждала, прислонившись к низкой конторке возле двери. Когда он подошел и положил руку ей на плечо, она тяжело, всем телом припала к нему. Джорджа Уиларда это привело в еще большее смятение. Он крепко прижимал к себе тело женщины, и вдруг оно окаменело. Два жестких кулачка стали бить его по лицу. Учительница выбежала, он остался один и заходил по комнате, яростно ругаясь.

На это смятение как раз и угодил пастор Хартман. Когда и он еще явился, Джордж Уилард решил, что город спятил. Потрясая окровавленным кулаком, пастор объявил женщину, которую Джордж только что обнимал, орудием Божьим и посланницей истины.

Джордж задул лампу у окна, запер дверь и отправился восвояси. Он прошел через контору гостиницы, мимо Хопа Хигинса, грезившего об умножении хорьков, и поднялся к себе в комнату. Печка давно потухла, и он разделся в холоде. Постель приняла его, как сугроб сухого снега.

Джордж Уилард ворочался в постели, где еще днем обнимал подушку, предаваясь мыслям о Кейт Свифт. У него в ушах звучали слова священника, который, ему казалось, внезапно сошел с ума. Глаза его блуждали по комнате. Злость, естественная в мужчине после такой осечки, прошла, и он пытался понять, что же все-таки случилось. Он не мог разобраться. И все думал и думал об этом. Проходили часы, и ему уже казалось, что пора бы, наверное, наступить новому дню. В четыре он натянул одеяло до подбородка и постарался

уснуть. Он закрыл глаза и уже в дремоте поднял руку, нашаривая что-то во тьме. «Я что-то упустил. Упустил, что мне пыталась сказать Кейт Свифт», сонно пробормотал он. И уснул — уснул последним в Уайнсбурге в эту зимнюю ночь.

ОДИНОЧЕСТВО

Перевод В. Голышева

Был он сыном миссис Эл Робинсон, которой когда-то принадлежала ферма к востоку от Уайнсбурга, в двух милях от города, на проселке, ответвлявшемся у Вертлюжной заставы. Дом был выкрашен в бурый цвет, и бурые ставни на окнах, обращенных к дороге, всегда оставались закрытыми. Напротив дома нежилась в глубокой пыли проселка куры и две цесарки. В те дни Енох жил у матери в этом доме и ходил в уайнсбургскую среднюю школу. Старожилы помнят его тихим мальчиком, улыбчивым и очень молчаливым. В город он шел посреди дороги, иногда читая на ходу книжку. Возницы орали на него и ругались. Только тогда он, опомнившись, сворачивал с глубокой колеи и пропускал их.

Когда ему исполнился двадцать один год, Енох уехал в Нью-Йорк и пятнадцать лет оставался городским жителем. Он занимался французским и посещал художественную школу, надеясь развить свои способности к рисованию. Про себя он решил, что отправится в Париж и завершит свое художественное образование среди тамошних знаменитостей, но из этого ничего не получилось.

У Еноха никогда ничего не получалось. Рисовал он неплохо, и в его мозгу таилось немало своеобразных поэтических мыслей, которым могла бы дать выражение кисть художника, но он навсегда остался ребенком, и это мешало ему достичь успеха. Он так и не стал взрослым, а потому не понимал людей и не мог добиться, чтобы они понимали его. Ребенок в нем все время больно ушибался, натываясь на реальность, на такие ее стороны, как деньги, вопросы пола и противоречивые мнения. Однажды его сбил трамвай и отбросил на чугунный столб, и с тех пор он хромал. Это была одна из многих причин, почему у Еноха Робинсона никогда ничего не получалось.

В Нью-Йорке, когда он только-только поселился там и еще не был ошеломлен и обескуражен жизнью, такой, какая она есть, Енох много времени проводил в обществе своих ровесников. Он примкнул к компании других начинающих художников, среди которых были и женщины. По вечерам они иногда являлись к нему в гости. Однажды он мертвецки напился, его забрали в участок, и судья в полицейском суде страшно его напугал, а в другой раз он заговорил с проституткой, которую увидел на тротуаре перед подъездом дома, где жил. Она прошла рядом с Енохом три квартала, но тут он оробел и убежал. Проститутка была сильно навеселе, и ей это показалось очень смешным. Она прислонилась к стене дома и смеялась так заразительно, что какой-то прохожий остановился и тоже начал смеяться. Они ушли вместе, продолжая смеяться, а Енох, весь дрожа, пробрался к себе в комнату очень расстроенный.

Комната, в которой молодой Робинсон жил в Нью-Йорке, выходила на Вашингтон-сквер и была узкой и длинной, точно коридор. Это необходимо твердо помнить. История Еноха, в сущности, гораздо больше история комнаты, чем история человека.

Итак, в ту комнату по вечерам приходили друзья молодого Еноха. Ничего особо примечательного в них не было, кроме одного: они принадлежали к той категории художников, которые разговаривают. Кто не знает таких разговаривающих художников? На протяжении всей мировой истории они собирались у кого-нибудь в комнате и разговаривали. Они разговаривают об искусстве со страстной, почти лихорадочной серьезностью. Они приписывают ему такую важность, какой оно все-таки не обладает.

И вот эти люди собирались, курили сигарету за сигаретой и разговаривали, а Енох Робинсон, мальчик с фермы под Уайнсбургом, сидел и слушал. Он устраивался где-нибудь в

уголке и почти никогда ничего не говорил. Как внимательно смотрели по сторонам его большие голубые детские глаза! На стенах висели картины, которые он написал, — наивные, незаконченные. Его друзья говорили и об этих картинах. Развалившись на стульях, они говорили, говорили, говорили, и их головы покачивались из стороны в сторону. Сыпались слова о линиях, о замысле, о композиции много-много слов из тех, которые произносятся постоянно.

Енох тоже хотел бы поговорить, но он не умел. От возбуждения он путался. Пытаясь заговорить, он брызгал слюной, заикался, и собственный голос казался ему и чужим и пискливым. И поэтому он перестал говорить. Он знал, что ему хотелось бы сказать, но, кроме того, он знал, что никогда, ни при каких обстоятельствах сказать этого не сможет. Если обсуждалась его картина, он жаждал сказать что-нибудь вроде: «Вы же не уловили сути! Картина, — объяснил бы он, — не исчерпывается тем, что вы видите и о чем говорите слова. В ней есть то, что вы совсем не видите и чего увидеть не можете. Вон посмотрите на ту, которая у двери, — на нее падает свет из окна. Темное пятно у дороги, которого вы, наверное, совсем не заметили, оно... понимаете, оно — начало всего. Это бузина, совсем такая, какая росла у дороги против нашего дома в Уайнсбурге, в штате Огайо, и бузина что-то заслоняет. Женщину. Вот что она заслоняет. Ее сбросила лошадь и куда-то ускакала, так что ее тут нет. Разве вы не видите, как тревожно озирается старик, который правит повозкой? Это Тэд Грейбек — у него ферма дальше по дороге. Он везет кукурузу в Уайнсбург, чтобы смолоть ее на Комстокской мельнице. Он знает, что в бузине что-то есть, что-то там скрыто, — и все-таки не уверен в этом.

А там женщина. Понимаете, вот что там! Это женщина, и она прекрасна. Как она прекрасна! Она сильно ушиблась, ей очень больно, но она не стонет, не плачет. Ну, как вы не понимаете? Она лежит неподвижно, совсем белая, неподвижная, и красота изливается из нее и одевает все вокруг. Красота и в небе, в глубине, и на всем вокруг. Конечно, я и не пробовал написать эту женщину. Она слишком прекрасна, чтобы ее можно было изобразить. Как это скучно — все ваши рассуждения о композиции и тому подобном. Ну почему вы не можете просто посмотреть на небо и убежать, как я, когда был мальчиком там, в Огайо, в Уайнсбурге?»

Вот примерно что жаждал сказать Енох Робинсон своим знакомым, которые приходили в его комнату, когда он молодым человеком жил в Нью-Йорке, но каждый раз он так ничего и не говорил. А потом он начал сомневаться в себе. Ему, думал он со страхом, не удастся воплотить в картинах, которые он пишет, то, что он чувствует. В смятении он перестал приглашать к себе приятелей, и скоро у него вошло в привычку запирать дверь. Он решил теперь, что у него в гостях побывало вполне достаточно людей и что больше он в людях не нуждается. И, фантазируя, он начал придумывать себе людей, с которыми мог бы разговаривать по-настоящему, и им он объяснял то, что ему не удавалось объяснить живым людям. Мало-помалу его комнату населили духи мужчин и женщин, среди которых он расхаживал и в свою очередь говорил слова. Почти все те, с кем Енох Робинсон был знаком, оставили ему какую-то частицу себя, и он мог менять и преображать эти частицы на свой лад, так что возникало нечто, способное понять и воспринять и женщину, лежащую за бузиной на полотне, и все другое.

Кроткий голубоглазый мальчик из Огайо был абсолютным эгоистом. Все дети эгоисты. Друзья ему не были нужны по очень простой причине — ребенку друзья не нужны. А нужны ему были люди, рожденные его фантазией, люди, с которыми он мог разговаривать по-настоящему, часами просвещать их и бранить, — то есть покорные слуги его воображения. Среди этих людей он всегда был уверенным в себе и смелым. Да, конечно, им разрешалось разговаривать и даже высказывать собственное мнение, но последнее, самое убедительное слово всегда оставалось за ним. Он был точно писатель, всецело поглощенный творениями своего мозга, — крохотный голубоглазый монарх в шестидолларовой комнате, выходящей на Вашингтон-сквер в городе Нью-Йорке.

А потом Енох Робинсон женился. Его начало томить одиночество и желание

прикоснуться руками к людям из плоти и крови. В иные дни его комната казалась ему пустой. Похоть подчиняла себе его тело, в мыслях росло вожделение. По ночам ему не давал уснуть непонятный внутренний жар. Он женился на девушке, которая сидела рядом с ним в художественной школе, и они сняли квартиру в Бруклине. У женщины, на которой он женился, родилось двое детей, и Енох нашел себе место в агентстве, где делают рисунки к рекламным объявлениям.

Так наступила еще одна фаза в жизни Еноха. Он завел себе новую игру. Некоторое время он гордился своей ролью создателя материальных ценностей. Он перестал искать суть вещей и начал играть с реальностью. Осенью он голосовал на каких-то выборах, и каждое утро ему доставляли газету. Вечером, возвращаясь со службы домой, он вылезал из трамвая и чинно шагал за каким-нибудь почтенным коммерсантом, старательно придавая себе внушительный вид. Он считал, что ему, как налогоплательщику, следует знать, как управляется страна. «Я приобретаю определенное значение, по-настоящему приобщаюсь ко всему, что происходит в штате и в городе», — говорил он себе, и лицо его принимало забавное выражение собственного достоинства. Однажды, возвращаясь домой из Филадельфии, он разговорился в поезде с соседом по купе. Енох рассуждал о том, что владеть и управлять железными дорогами должно государство, и сосед угостил его сигарой. Енох считал, что правительству следовало бы решиться на такой шаг, и, излагая свое мнение, он даже разгорячился. Позже он с удовольствием вспоминал свои слова.

— Я таки заставил этого типа задуматься, — пробормотал он, поднимаясь по лестнице в свою бруклинскую квартиру.

Конечно же из женитьбы Еноха ничего не получилось. Он сам положил ей конец. У него возникло ощущение, что жизнь в квартире душит его, замуровывает заживо, и к жене, и даже к детям он испытывал теперь то же чувство, что и к друзьям, которые когда-то приходили к нему в гости. Мало-помалу он начал придумывать деловые встречи, чтобы вечером походить по улицам, а когда представился случай, он втихомолку вновь снял комнату, выходящую на Вашингтон-сквер. Затем миссис Эл Робинсон умерла у себя на ферме под Уайнсбургом, и банк, выполнявший функции ее душеприказчика, выслал ему восемь тысяч долларов. Это окончательно вырвало Еноха из мира людей. Он отдал деньги жене и сказал ей, что больше не может жить в этой квартире. Она плакала, сердилась, угрожала, но он только молча посмотрел на нее и ушел. На самом деле жену это не очень-то расстроило. Она считала Еноха не совсем нормальным и побаивалась его. Когда стало ясно, что он не вернется, она забрала детей и уехала в маленький коннектикутский городок, где прошло ее детство. В конце концов она вышла замуж за человека, который скупал и продавал земельные участки, и была более или менее довольна жизнью.

А Енох Робинсон остался в Нью-Йорке, в комнате, полной людей, созданных его фантазией. Он играл с ними и разговаривал, счастливый, как ребенок. Странная это была компания — эти люди Еноха. Вероятно, он переделал в них реальных людей, которые по какой-то неясной причине внушили ему интерес. Среди них была женщина с мечом в руке, старик с длинной седой бородой, за которым всюду ходила собачонка, девочка, у которой чулки все время сползали на ботинки. В комнате Еноха Робинсона вместе с ним жило, наверное, больше двадцати этих воображаемых людей, созданных его детской фантазией.

И Енох был счастлив. Он входил в комнату и запирал за собой дверь. С нелепой важностью он разговаривал вслух, отдавал распоряжения, рассуждал о жизни. Он был счастлив и спокойно продолжал бы зарабатывать на жизнь в рекламном агентстве, если бы что-то не произошло. И конечно же что-то произошло. Вот почему он вернулся в Уайнсбург, и вот почему мы знаем о нем. А произошло то, что появилась женщина. Иначе и быть не могло. Слишком уж счастливым он себя чувствовал, и что-то должно было ворваться в его мир. Что-то должно было изгнать его из нью-йоркской комнаты, чтобы он доживал свои дни в Огайо, в маленьком городке, и подпрыгивающей походкой из вечера в вечер бродил по его улицам, когда солнце заходило за крышу конюшни Уэсли Мойра, — жалкий, щуплый, дергающийся человек.

Ну, а что же произошло... Как-то вечером Енох рассказал об этом Джорджу Уиларду. Ему хотелось поговорить с кем-нибудь, и молодого газетного репортера он выбрал в собеседники потому, что встреча их произошла в такую минуту, когда молодой человек был в восприимчивом настроении.

Юношеская грусть, грусть молодости, грусть деревенского подростка на исходе года — вот что заставило старика заговорить. Беспричинная грусть томила сердце Джорджа Уиларда, и она тронула Еноха Робинсона.

В тот вечер, когда они встретились и разговорились, сеял дождь мелкая октябрьская изморось. Год созревал, и ночи следовало быть ясной, сиять полной луной в небе, покусывать легким морозцем, но все было по-другому. Шел дождь, и под фонарями Главной улицы поблескивали мелкие лужицы. Во мраке за Ярмарочной площадью с черных деревьев капала вода. Под деревьями мокрые листья облепили торчащие из земли корни. В огородах позади уайнсбургских домиков на земле валялась пожухлая картофельная ботва. Мужчины, которые собирались, поужинав, пойти скоротать вечер в обществе других мужчин в задней комнате какой-нибудь лавки, отказывались от своего намерения и оставались дома. Джордж Уилард бродил по городу под дождем и радовался, что идет дождь. Такое у него было настроение. Такое же, как у Еноха Робинсона в те вечера, когда старик выходил из своей комнаты и в одиночестве брел по улицам. Но только, конечно, Джордж Уилард вырос в высокого молодого человека и считал, что мужчине не к лицу хныкать и расстраиваться. Вот уже месяц его мать была тяжело больна, и отчасти его грусть объяснялась этим, но лишь отчасти. Он размышлял о себе, а в молодости такие мысли всегда рождают грусть.

Енох Робинсон и Джордж Уилард встретились под деревянным навесом перед лавкой тележника Войта на Моми-стрит, совсем рядом с Главной улицей. Оттуда они пошли вместе по улицам, блестящим от дождя, в комнату старика на третьем этаже хеффнеровского дома. Молодой репортер пошел туда довольно охотно. Енох Робинсон пригласил его к себе после того, как они поговорили минут десять. Джорджу Уиларду было страшновато, но никогда в жизни он не испытывал такого любопытства. Сотни раз он слышал, как этого старика называли свихнутым, а потому чувствовал, что, согласившись, он доказал свое мужество. С самого начала, еще на улице под дождем, старик говорил очень странно — он пытался рассказать историю комнаты на Вашингтон-сквер и историю своей жизни в этой комнате.

— Вы поймете, если постараетесь, — сказал он твердо. — Я смотрел, как вы идете мимо меня по улице, и подумал, что вы сможете понять. Это нетрудно. Вам надо только поверить тому, что я говорю, — просто слушать и верить. И больше ничего.

Шел двенадцатый час, когда в этот вечер старый Енох, разговаривая с Джорджем Уилардом в комнате в хеффнеровском доме, дошел до главного — до истории о женщине и о том, что заставило его уехать из Нью-Йорка доживать свою жизнь в Уайнсбурге одиноким, потерпевшим полное поражение. Он сидел на узкой кровати у окна, подперев голову рукой, а Джордж Уилард примостился на стуле у стола. На столе стояла керосиновая лампа. Комната, почти совсем без мебели, была безупречно чистой. Джордж Уилард слушал старика, и ему все сильнее хотелось встать со стула и пересесть на кровать. Ему хотелось обнять сгорбленные щуплые плечи. В полумраке старик говорил, а молодой человек слушал, полный грусти.

— В комнате много лет никто не бывал, и тут она завела обыкновение заходить туда, — говорил Енох Робинсон. — Она увидела меня в коридоре, и мы познакомились. Не знаю, что она делала у себя в комнате. Я там ни разу не был. По-моему, она занималась музыкой и играла на скрипке. Иногда она приходила, стучалась, и я открывал дверь. Она входила и садилась рядом со мной. Просто сидела, глядела по сторонам и ничего не говорила. То есть не говорила ничего важного.

Старик встал и заходил по комнате. Пальто на нем намокло от дождя, и капли с мягким стуком падали на пол. Когда он снова сел на кровать, Джордж Уилард встал со стула и сел рядом с ним.

— Она вызывала у меня странное ощущение. Она сидела со мной в комнате и была

слишком велика для нее. У меня было ощущение, что она вытесняет оттуда все остальное. Мы говорили о разных пустяках, но я не мог усидеть на месте. Мне хотелось дотронуться до нее, поцеловать. Руки у нее были такие сильные, лицо такое хорошее, и она все время смотрела на меня.

Надтреснутый голос старика смолк, по его телу пробежала дрожь, как от озноба.

— Я боялся, — зашептал он. — Я очень боялся. Мне не хотелось впускать ее, когда она стучала в дверь, но я не мог усидеть на месте. «Нет-нет», говорил я себе, все равно вставал и открывал дверь. Вы понимаете, она была такой взрослой. Она была женщиной. Мне казалось, что в комнате она становится самой большой, гораздо больше меня.

Енох Робинсон, не отрываясь, смотрел на Джорджа Уиларда, его детские голубые глаза блестели в свете керосиновой лампы. По его телу снова пробежала дрожь.

— Я хотел, чтобы она приходила, и все это время я не хотел, чтобы она приходила, — объяснил он. — А потом я начал рассказывать ей про моих людей, про все, что было для меня важно. Я старался промолчать, оставить свое при себе, но не мог. Я чувствовал то же, что перед дверью, когда открывал ей. Иногда мне до боли хотелось, чтобы она ушла и больше не возвращалась.

Старик вскочил, и голос его прервался от волнения.

— А потом это случилось. Как-то вечером мне вдруг стало невыносимо нужно, чтобы она меня поняла, чтобы она узнала, какой я самый главный в этой комнате. Я хотел, чтобы она убедилась, какой я тут по-настоящему важный. Я повторял это снова и снова. Она попыталась уйти, но я подбежал и запер дверь. Я ходил за ней по пятам. Я говорил, говорил, говорил, а потом вдруг все рухнуло. У нее в глазах появилось такое выражение, что мне стало ясно: она поняла. А может быть, она с самого начала понимала. Я пришел в ярость. Это было нестерпимо. Я хотел, чтобы она поняла, но — как вы не видите! — я не мог допустить, чтобы она поняла. Я чувствовал, что тогда она будет знать все, что я утону, захлебнусь. Вот как это было, не знаю почему.

Старик опустил на стул перед лампой, а молодой человек слушал, полный благоговейного страха.

— Идите, юноша, — сказал Енох Робинсон. — Уйдите от меня. Я думал, что будет хорошо, если я вам расскажу, но это не так. И я больше не хочу говорить. Уходите.

Джордж Уилард покачал головой и сказал настойчиво:

— Вы не можете вот так замолчать. Расскажите мне, что было дальше, потребовал он. — Что произошло? Расскажите мне все до конца.

Енох Робинсон вскочил и подбежал к окну, которое выходило на пустынную Главную улицу. Джордж Уилард тоже подошел к окну. Они стояли рядом у окна высокий нескладный мальчик-мужчина и щуплый морщинистый мужчина-мальчик. Детский захлебывающийся голос продолжал рассказ.

— Я обругал ее, — объяснял Енох Робинсон. — Я говорил грязные слова. Я велел ей уйти и больше не приходить. Да, я говорил ужасные вещи. Сначала она притворялась, будто не понимает, но я не переставал. Я кричал и топал ногами. От моей брани трясся дом. Я больше не хотел ее видеть и знал, что наговорил такого, после чего уже никогда ее не увижу.

Голос старика надломился, и он покачал головой.

— Все рухнуло, — сказал он негромко и грустно. — Она вышла в дверь, и вся жизнь, которая была в комнате, выскользнула следом за ней. Она увела всех моих людей. Они все ушли в дверь следом за ней. Вот как это случилось.

Джордж Уилард повернулся и вышел из комнаты Еноха Робинсона. Выходя в дверь, он слышал, как в темноте у окна хнычет и жалуется надтреснутый старческий голос.

— Я тут один, совсем один, — говорил голос. — В моей комнате было тепло и уютно, а теперь я совсем один.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Перевод В. Голышева

У Беллы Карпентер были смуглая кожа, серые глаза, толстые губы. Она была рослая и сильная. Когда ее одолевали черные мысли, она злилась и жалела, что она не мужчина и не может подражаться на кулаках. Белла работала в мастерской модистки миссис Кейт Макхью и все дни просиживала у окна в задней части магазина, отделявая шляпки. Жила она с отцом Генри Карпентером, бухгалтером уайнсбургского Первого национального банка, в унылом старом доме в дальнем конце Каштановой улицы. Дом окружали сосны, трава под ними не росла. Когда дул ветер, ржавый сорванный с крючьев желоб стучал по крыше сарайчика нудным барабанным стуком, который продолжался иногда всю ночь.

В раннем девичестве отец отравлял Белле жизнь почти до невыносимости, но, повзрослев, став женщиной, она освободилась из-под его власти. Жизнь бухгалтера состояла из бесчисленных ничтожных пустяков. Собираясь утром в банк, он заходил в чулан и надевал черный люстриновый пиджак, истрепанный от старости. Вечером, вернувшись домой, он надевал другой черный люстриновый пиджак. Каждый вечер он гладил уличный костюм. Для этой цели он изобрел приспособление из досок. Уличные брюки закладывались между досками, и доски стягивались мощными винтами. Утром он обтирал доски влажной тряпкой и помещал стоймя за дверью столовой. Если их днем передвинули, он немел от гнева и неделю не мог прийти в себя.

Бухгалтер был мелким деспотом и боялся дочери. Он понимал, что Белла знает о том, как грубо он обращался с ее матерью, и ненавидит его за это. Однажды в поддень она зашла домой и принесла пригоршню грязи с улицы. Этой грязью она измазала доски гладильного аппарата, после чего отправилась обратно на работу с чувством радостного облегчения.

По вечерам Белла Карпентер иногда выходила прогуляться с Джорджем Уилардом. Втайне она любила другого человека, но этот ее роман, о котором люди не знали, доставлял ей много беспокойства. Любила она Эда Хэндби, бармена из салуна Эда Грифита, а с молодым репортером гуляла, чтобы несколько разрядиться. Она считала, что ей, по ее месту в обществе, неприлично появляться на людях с барменом, — и чтобы дать разрядку своим влечениям, от природы весьма неумным, прогуливалась под деревьями с Джорджем Уилардом и позволяла себя целовать. Она чувствовала, что сможет удержать младшего поклонника в потребных границах. Относительно Эда Хэндби она была не совсем уверена.

Бармен Хэндби, высокий, плечистый тридцатилетний мужчина, жил в комнате над салуном Грифита. Кулаки у него были большие, а глаза необыкновенно маленькие; голос же, тихий и мягкий, как будто нарочно скрывал силу, стоящую за этими кулаками.

Двадцати пяти лет от роду он получил в наследство от дяди большую ферму в Индиане. Продажа ее дала восемь тысяч долларов, каковые Эд употребил за полгода. Он отправился в Сандаски на озере Эри и приступил к оргии развлечений, повесть о которых потом повергала его родимый городок в благоговейный трепет. Он ездил с места на место, швырялся деньгами, гонял на пролетках по улицам, поил ораву мужчин и женщин, играл по большой в карты, содержал любовниц, чьи туалеты обходились ему в сотни долларов. Однажды ночью в курортном местечке Кедровый Мыс он затеял драку, после чего зверски разбушевался. Он разбил кулаком большое зеркало в отхожем месте, а затем принялся высаживать окна и крушить стулья в танцевальном зале, забавляясь звоном стекла и ужасом в глазах конторщиков, приехавших на вечерок из Сандаски со своими подругами.

Внешне роман у Эда Хэндби с Беллой Карпентер не клеился. Ему удалось провести с ней всего один вечер. В этот вечер он нанял в конюшне Уэсли Мойра коляску и повез Беллу кататься. Укрепившись в мысли, что Белла именно та женщина, какая ему надобна, и что он заставит ее остановить свой выбор на нем, Эд сообщил ей о своих желаниях. Бармен готов был жениться и попробовать содержать жену, но по простоте душевной затруднялся изъяснить свои намерения. Тело его ныло от физического влечения, и телом он изъяснился. Обхватив модистку руками, он крепко держал ее, невзирая на сопротивление, и целовал,

покуда она не обмякла. Тогда он отвез ее обратно в город и выпустил из коляски.

— В другой раз доберусь до тебя — не отпущу. Со мной не побалуешься, объявил он, повернув прочь. Потом выскочил из коляски и сильными руками схватил ее за плечи. — Тогда сгребу насовсем, — сказал он. — Так что давай решайся. Ты со мной — и никаких, а пока моя не будешь, не успокоюсь.

Однажды январской ночью, когда светил молодой месяц, Джордж Уилард, представлявшийся Эду Хэндби единственным препятствием в овладении Беллой Карпентер, вышел погулять. Перед этим, ранним вечером, Джордж с Сетом Ричмондом и сыном городского мясника Артом Уилсоном побывали в бильярдной Ренсома Сёрбека. Сет Ричмонд стоял у стены и молчал, а Джордж Уилард разговаривал. Бильярдная полна была городских парней, и разговаривали они о женщинах. Молодой репортер подхватил эту тему. Он заявил, что женщины должны сами беречься, что, если парень с девушкой встречается, он за последствия не отвечает. Толкуя так, он озирался, жаждал внимания. Он занимал слушателей минут пять, а потом вступил Арт Уилсон. Арт ходил в подмастерьях у парикмахера Кела Праузе и уже считал себя знатоком в таких вопросах, как бейсбол, бега, выпивка и обхождение с женским полом. Он стал рассказывать о том, как однажды ночью с двумя уайнсбургцами посетил публичный дом в окружном центре. Мясницкий сын держал сигару в углу рта и, разговаривая, плевал на пол.

— Уж как старались девочки меня огоршить — да не вышло, — хвастался он. — Одна там стала было нахальничать, но я ей утер нос. Только она начала говорить, я раз — и сел ей на колени. Кто в комнате был, все засмеялись, когда я ее поцеловал. Будет знать, как приставать ко мне.

Джордж Уилард вышел из бильярдной на Главную улицу. Уже несколько дней держался крепкий мороз, и с озера Эри, лежавшего в восемнадцати милях к северу от города, дул резкий ветер, но сегодня ночью ветер стих, светил молодой месяц, и ночь была необыкновенная. Не думая, куда он идет и что будет делать, Джордж свернул с Главной улицы и зашагал по темным улочкам, застроенным деревянными каркасными домами.

На воздухе, под черным небом, усыпанным звездами, он забыл приятелей по бильярдной. Джордж был один, вокруг — темнота, и он заговорил вслух. Забавы ради он стал мотаться по улице, подражая пьяному, потом вообразил себя военным в начищенных сапогах до колен, с гремющей саблей на боку. Он вообразил себя военным инспектором и двинулся вдоль длинного строя солдат. Он осматривал их амуницию. Он остановился перед деревом и начал ему выговаривать.

— Почему ранец не в порядке? — рявкнул он. — Сколько раз об этом говорить? Порядок должен быть во всем. Перед нами стоит трудная задача, а без порядка трудную задачу не выполнишь.

Загипнотизированный собственными словами, молодой человек брел по деревянному тротуару и произносил речь.

— Есть законы для армий, и они распространяются на людей, — бормотал он в глубокой задумчивости. — Закон начинается с малого и распространяется так, что охватывает все на свете. В каждой малости должен быть порядок — на рабочем месте человека, в его одежде, в его мыслях. Я сам должен соблюдать порядок. Я должен усвоить этот закон. Я должен приобщиться к чему-то большому и упорядоченному, несущемуся сквозь ночь подобно звезде. В маленькой моей области я тоже должен учиться чему-то, и отдавать, и нестись, и работать в согласии с жизнью, с законом.

Джордж Уилард остановился у забора под фонарем и задрожал. Такие мысли, как сейчас, никогда прежде не приходили ему в голову, и он удивился, откуда они взялись. Ему даже показалось, что во время прогулки с ним говорил какой-то голос извне. Он был в изумлении и восторге от собственного ума и, двинувшись дальше, заговорил об этом с энтузиазмом.

— Выйти из бильярдной Ренсома Сёрбека и задуматься о таких предметах, — прошептал он. — Одному быть лучше. Если бы я стал говорить, как Арт Уилсон, ребята

меня бы поняли, но о чем я сейчас думал — этого им не понять.

Двадцать лет назад в Уайнсбурге, как и в других городах Огайо, были кварталы, населенные поденщиками. Поскольку заводской век еще не наступил, работали они на полях и на железной дороге. Работали двенадцать часов в день и за долгий день труда получали один доллар. Они обитали в дешевых деревянных домишках с садиком позади. Те, что позажиточнее, держали корову, иногда — свинью, помещавшуюся в сарайчике за садиком.

Вот на такую улочку и вышел ясной январской ночью Джордж Уилард, переполненный звонкими мыслями. Улица едва освещалась, а тротуар местами отсутствовал. Что-то в этом пейзаже еще больше подогрело его разыгравшуюся фантазию. Последний год он проводил весь свой досуг за чтением книжек, и сейчас ему вспомнилась одна история из жизни средневековых городов Европы вспомнилась с такой отчетливостью, что он стал спотыкаться, испытывая странное чувство возвращения в те места, с которыми было связано что-то в его прежней жизни.

Возбужденный молодой человек, не выдержав груза собственных мыслей, осторожно двинулся по проулку. На него кинулась собака; пришлось отгонять ее камнями; из двери появился мужчина и обругал собаку. Джордж зашел на пустырь и, закинув голову, поглядел в небо. Он ощущал себя несказанно большим и обновленным благодаря этим впечатлениям и в порыве чувств поднял руки, протянул их во тьму над головой и забормотал. На него нахлынуло желание произносить слова, и он произносил слова без смысла, перекатывая во рту и произнося их, потому что это были сильные слова, полные смысла. «Смерть, — бормотал он, — ночь, море, страх, прелесть».

Джордж Уилард ушел с пустыря и опять встал на тротуаре, лицом к домам. Он ощущал, что все люди на этой улочке — ему братья и сестры, и жалел, что у него неостанет смелости вызвать их из домов и пожать им руки. «Эх, если бы тут была женщина, я бы схватил ее за руку и мы бежали бы, пока не выбились из сил, — подумал он. — Тогда мне стало бы легче». С мыслью о женщине он покинул улочку и пошел к дому Беллы Карпентер. Он думал, что она поймет его настроение и что теперь он сумеет поставить себя так, как ему давно хотелось. Прежде, когда Джордж встречался с ней и целовал ее в губы, он после свиданий сердился на себя. У него было чувство, что его используют в каких-то непонятных целях, — и чувство это не было приятным. Теперь же ему казалось, что он стал чересчур взрослым, чтобы им пользовались.

К тому времени, как он добрался до дома Беллы Карпентер, у нее уже успел побывать один посетитель. Эд Хэндби подошел к двери, вызвал Беллу на улицу и хотел с ней поговорить. Он собирался предложить ей, чтобы она ушла с ним и стала его женой, но, когда она появилась в дверях, Эд потерял уверенность и набычился.

— Ты с этим пацаном не крути, — прорычал он, имея в виду Джорджа Уиларда, а затем, не зная, что еще сказать, повернул прочь. — Поймаю вас вместе — обоим кости переломаяю, — заключил он. Бармен пришел с намерением свататься, а не угрожать и был зол на себя за неудачу.

Когда поклонник удалился, Белла вошла в дом и взбежала наверх. Из верхнего окна она увидела, как Эд Хэндби перешел улицу и сел на колоду перед соседним домом. Он неподвижно сидел в полутьме, опустив голову на руки. Ей было приятно это видеть, и, когда к дверям явился Джордж Уилард, она горячо приветствовала его и быстро надела шляпу. Она решила, что Эд Хэндби пойдет следом, когда они с Джорджем отправятся гулять, — а ей хотелось, чтобы он страдал.

В эту ясную ночь Белла и молодой репортер с час гуляли под деревьями. Джорджа Уиларда переполняли громкие слова. Ощущение собственной силы, возникшее за тот час, что он пробыл в темном проулке, сохранилось, и он разговаривал самонадеянно, вышагивал важно, размахивал руками. Ему хотелось внушить Белле, что он сознает свою прежнюю слабость, что теперь он другой.

— Увидишь, я уже не тот, — объявил он, сунув руки в карманы и дерзко глядя ей в глаза. — Почему — не знаю, но это факт. Либо относись ко мне как к мужчине, либо

прощай. Вот так вот.

Взад и вперед по безлюдным улицам, под молодым месяцем ходили женщина и юноша. Когда Джордж перестал говорить, они свернули в переулок и по мосту вышли на тропинку, поднимавшуюся на холм. Холм начинался у Водозаборного пруда, а на верху его была Ярмарочная площадь Уайнсбурга. Склон порос густым кустарником и деревцами, а маленькие прогалины в кустарнике высокой травой, жесткой сейчас от мороза.

Джордж поднимался за женщиной на холм, и сердце его застучало чаще, плечи распрямились. Он вдруг решил, что Белла Карпентер готова ему отдаться. Что новая сила, проявившаяся в нем, подействовала на женщину, покорила ее. От этой мысли, от сознания своей мужской силы он охмелел. Правда, во время прогулки Джорджа сердило, что она не прислушивается к его словам, но то обстоятельство, что она пошла с ним сюда, рассеяло его сомнения. «Все по-другому. Все теперь по-другому», — подумал он, взял Беллу за плечо, повернул к себе и взглянул на нее сверкающими от гордости глазами.

Белла Карпентер не сопротивлялась. Когда он поцеловал ее в губы, она тяжело припала к нему, глядя поверх его плеча в темноту. Вся ее поза выражала ожидание. Снова, как и в проулке, ум Джорджа разродился словами, и, крепко обнимая женщину, он пустил их шепотом в тихую ночь.

— Желание, — прошептал он. — Желание... ночь... и женщина.

Джордж не понял, что случилось с ним в ту ночь на склоне холма. Позже, когда он вернулся к себе в комнату, ему захотелось плакать, а потом он чуть с ума не сошел от злости и ненависти. Он ненавидел Беллу Карпентер и думал, что будет ненавидеть до самой смерти. На холме он привел эту женщину на прогалину между кустами и упал перед ней на колени. Как перед тем на пустыре за домами поденщиков, он поднял руки, благодаря за новую силу в себе, и ждал, чтобы женщина заговорила, — но тут появился Эд Хэндби.

Бармен не хотел бить паренька, пытавшегося, как он думал, увести у него женщину. Он знал, что обойдется без битья, что у него хватит силы добиться своего без помощи кулаков. Он схватил Джорджа за плечо, поставил на ноги и держал одной рукой, глядя на Беллу Карпентер, все еще сидевшую на траве. Потом быстрым и широким взмахом руки он отшвырнул молодого человека в кусты и начал поносить женщину, которая уже встала на ноги.

— Дрянь, — сказал он грубым голосом. — Прямо возиться с тобой неохота. Развязался бы я с тобой, кабы не так тебя хотел.

Стоя на четвереньках между кустов, Джордж Уилард смотрел на эту сцену и пытался собраться с мыслями. Он хотел броситься на этого человека, который его унизил. Быть избитым, ему казалось, в тысячу раз лучше, чем вот так позорно отлететь в кусты.

Трижды бросался молодой репортер на Эда Хэндби, и трижды бармен, поймав его за плечо, отшвыривал в кусты. Старший соперник, по-видимому, был согласен продолжать это упражнение до бесконечности, но Джордж Уилард ударился головой о корень и затих. Тогда Эд Хэндби взял Беллу Карпентер повыше локтя и увел.

Джордж слышал, как они продираются сквозь кустарник. Крадучись, он двинулся вниз по склону; на душе у него было погано. Он ненавидел себя, ненавидел судьбу, подвергнувшую его такому унижению. Он вспомнил, что с ним происходило в безлюдном проулке, и озадаченно остановился, прислушиваясь к темноте, — не донесется ли еще раз извне тот голос, который совсем недавно вселил в него мужество. По дороге домой ему снова пришлось выйти на улицу, застроенную дешевыми деревянными домишками: он не вынес этого зрелища и побежал, желая поскорее убраться из поселка, который выглядел теперь донельзя убогим и пошлым.

ЧУДАК

Перевод Н. Бать

Сидя на ящике в грубо сколоченном дощатом сарае, который торчал, как нарост, у задней стены магазина «Каули и сын», Элмер Каули, младший член фирмы, видел сквозь грязное стекло окна то, что делается в типографии газеты «Уайнсбургский орел». Элмер вдевал в ботинки новые шнурки. Шнурок никак не пролезал в дырочку, и ботинок пришлось скинуть. Так, держа в руках ботинок, сидел он и разглядывал огромную дыру в носке, из которой торчала голая пятка. Внезапно подняв голову, он увидел в окне Джорджа Уиларда, единственного газетного репортера в Уайнсбурге. Джордж стоял у заднего крыльца типографии и рассеянно смотрел по сторонам.

— Ну, вот только этого не хватало! — воскликнул молодой Каули, с ботинком в руке вскочил на ноги и, крадучись, отошел от окна.

Лицо Элмера залила краска, руки дрожали. В магазине «Каули и сын» еврей-коммивояжер, стоя у прилавка, вел беседу с его отцом. Элмер вообразил, что репортер прислушивается к их разговору, и при одной мысли об этом рассвирепел. Прячась в углу сарая и все еще держа в руках ботинок, он в ярости топнул необутой ногой о дощатый пол.

Магазин «Каули и сын» был не на Главной улице Уайнсбурга. Он выходил на Моми-стрит, за ним шла колесная мастерская Войта, а за нею сараи, где фермеры привязывали лошадей. Рядом по переулку, позади магазинов на Главной улице, день-деньской громыхали фургоны и подводы, спеша доставить и увезти товар. Магазин «Каули и сын» было бы трудно описать. Уилл Хендерсон как-то сказал, что там торгуют всем и ничем. В витрине, выходящей на Моми-стрит, красовался огромный кусок каменного угля величиной с бочонок, и это означало, что здесь принимают заказы на уголь. Подле черной громады угля стояли в трех деревянных рамках соты с коричневым, потемневшим от грязи медом.

Этот мед стоял в витрине уже целые полгода. Он предназначался для продажи, как, впрочем, и вешалки для пальто, и патентованные пуговицы для подтяжек, и банки с кровельной краской, и бутылки с лекарством от ревматизма, и суррогат кофе. Все эти товары терпеливо старались привлечь внимание публики.

Хозяин магазина, Эбенезер Каули, на которого из уст коммивояжера сыпался целый ворох слов, был высокий, тощий и грязный старик. С его костлявой шеи свисал большой зоб, прикрытый сверху седой бородой. На нем был долгополый сюртук фасона «Принц Альберт», который он купил еще перед свадьбой. Прежде чем заняться торговлей, Эбенезер был фермером. В те времена он облачался в свой сюртук лишь по воскресеньям, идя в церковь, да по субботам, отправляясь в город за покупками. Когда он продал ферму, чтоб заняться торговлей, то стал носить сюртук не снимая. С годами сюртук от старости побурел и покрылся жирными пятнами, но Эбенезер всегда чувствовал себя в нем нарядно одетым и готовым к деловому дню.

В торговле Эбенезеру не везло, как не везло ему и на ферме. Все же он кое-как перебивался. Семья его, состоявшая из дочери, которую звали Мэйбл, и сына Элмера, жила на втором этаже над магазином. На жизнь им хватало. Дело было не в деньгах. Несчастье Эбенезера заключалось в том, что всякий раз, когда заезжий коммивояжер появлялся на пороге, лавочника охватывал страх. Он стоял за прилавком и покачивал головой: боялся, что заупрямится и упустит товар, который можно было бы сбыть, или, наоборот, что не устоит и в минуту слабости накупит вещей, которые потом не продашь.

В то утро, когда Элмер Каули увидел на пороге типографии Джорджа Уиларда и предположил, что репортер прислушивается к разговору старика с коммивояжером, в магазине происходило как раз то, что всегда приводило Элмера в неистовую ярость. Приезжий говорил, а старик слушал, и вся его фигура была воплощением нерешительности.

— Видите, как это ловко получается — раз, и готово! — сказал коммивояжер, демонстрируя маленькую металлическую пластинку, — новый тип запонок для воротников. Одной рукой он быстро отстегнул воротничок от рубашки и снова пристегнул его. Он заворковал льстиво и вкрадчиво: Поймите, ведь всем давно надоела возня с этими

запонками. Скоро им конец. И вы первый на этом крупно заработаете. Здесь вы будете единственным представителем нашей фирмы. Послушайте меня, возьмите двадцать дюжин, и ни один магазин в городе от меня их не получит. Вам предоставляется огромное поле деятельности.

Коммивояжер облокотился о прилавок и, тыча пальцем в грудь Эбенезера, продолжал:

— Ловите момент, пока не поздно. Я не хочу, чтобы вы упускали такой случай. Я знаю о вас от одного приятеля. «Повидайся с Каули, — говорил он мне, — это делец».

Коммивояжер выжидательно молчал. Затем, вынув из кармана книжку, начал писать заказ. Элмер Каули, все еще с ботинком в руке, направился через весь магазин прямо к витрине возле входной двери. Из-под стеклянной крышки он извлек дешевенький револьвер и принялся им размахивать.

— Вон! — заорал Элмер. — Пошел вон со своими запонками! — Потом он опомнился. — Я вовсе не угрожаю, — и добавил: — Я же не сказал, что буду стрелять! Может, я вынул револьвер просто так, поглядеть на него. А вы сматывайте удочки подобру-поздорову. Ясно? Собирайте свои монатки и вон отсюда!

Голос молодого Каули снова поднялся до яростного крика, и, пройдя за прилавок, парень стал наступать на отца и коммивояжера.

— Хватит нас дурачить! — орал он. — Никаких покупок, пока не начнем продавать. Довольно на нас людям глаза пялить да подслушивать. Побыли чудаками, хватит. Вон отсюда!

Коммивояжер сгреб с прилавка застешки в черный кожаный саквояж и кинулся к выходу. Он был маленького роста и трусил неуклюжей рысцой на своих кривых ногах. Выбегая, коммивояжер зацепился саквояжем за дверь, споткнулся и упал на тротуар.

— Сумасшедший, это же просто сумасшедший, — пробормотал он, поспешно поднимаясь, и пустился наутек.

Отец и сын уставились друг на друга. Теперь, когда случайная жертва его гнева исчезла, Элмер смутился.

— Так ему и надо. Довольно нам чудаков из себя строить, — заявил он и, подойдя к витрине, положил на место револьвер.

Затем он уселся на бочку, надел ботинок и завязал шнурки. Элмер ждал от отца хоть слова в знак сочувствия, но то, что изрек Эбенезер, только разожгло его ярость, и он молча выбежал из магазина. Почесывая седую бороду костлявыми грязными пальцами, торговец обратил на сына тот же растерянный, блуждающий взгляд, которым он смотрел на коммивояжера.

— Ну и ну! — тихо промолвил он. — Пусть меня прокипятят, проутюжат и накрахмалят!

Элмер Каули вышел из города и побрел по проезжей дороге, которая тянулась рядом с железнодорожным полотном. Он и сам не знал, куда и зачем идет. Под сводом моста, там, где дорога круто сворачивала вправо и, спускаясь, проходила под железнодорожным полотном, он остановился, и гнев, вызвавший недавнюю вспышку в магазине, снова закипел в нем.

— Не буду я больше чудаком, чтобы все на меня пальцем указывали да глаза пялили, — громко сказал он. — Буду таким, как все! А этому Уиларду я еще покажу, он у меня узнает, я ему еще покажу!

В сильном волнении Элмер остановился посреди дороги, гневно взирая на город. Он не был знаком с репортером Джорджем Уилардом, и у него не было никаких личных счетов с этим высоким юношей, который целый день носился по Уайнсбургу, собирая городские новости. Но Джордж Уилард работал в редакции и в типографии «Уайнсбургского орла», а поэтому приобретал в глазах молодого торговца особое значение. Элмер видел, как Джордж то и дело проходил мимо магазина «Каули и сын», останавливался на улице поболтать с прохожими, и ему казалось, что юноша следит за ним и втайне подсмеивается. В глазах Элмера Джордж Уилард как бы представлял весь город, воплощал дух города. Ему и в

голову не приходило, что у Джорджа Уиларда тоже бывало подчас нелегко на душе и его тревожили смутные мечты и томили тайные, неясные желания. Для Элмера именно Джордж был глашатаем общественного мнения в Уайнсбурге, а разве оно не наложило на все семейство Каули клеймо чужачества? Разве Джордж Уилард не прогуливался по Главной улице, посмеиваясь и посвистывая? И потому, нанеся удар Джорджу, он тем самым обрушится на более мощного врага, который, ухмыляясь, невозмутимо идет своей дорогой, — на общественное мнение Уайнсбурга.

Элмер Каули был необычайно высок. И руки у него были длинные и очень сильные. Его белесые волосы, брови и мягкий пушок пробивающейся бородки казались совсем белыми. Из рта торчали длинные зубы, а глаза были такими же водянисто-голубыми, как гладкие камешки, которыми уайнсбургские мальчишки набивают карманы. Элмер прожил в Уайнсбурге целый год, но ни с кем не подружился. Ему казалось, он обречен прожить жизнь без друзей, и сознание этого глубоко его удручало.

Засунув руки в карманы брюк, долговязый парень мрачно брел по дороге. Дул сырой ветер, и день был холодный, но вскоре показалось солнце, дорога стала мягкой и вязкой. Твердая корка мерзлой земли подтаяла, башмаки Элмера облепила грязь. Ноги его озябли. Пройдя несколько миль, он свернул с дороги, пересек поле и вошел в лес. Он собрал хворост и разжег огонь, сел у костра, пытаясь согреться, измученный душой и телом.

Часа два просидел он так на коряге у огня, потом поднялся и, осторожно пробираясь сквозь заросли кустарника, дошел до изгороди, откуда была видна маленькая ферма, окруженная низкими пристройками. На губах его появилась улыбка, и своими длинными руками он стал делать знаки человеку, общицавшему на поле кукурузные початки.

В тоске и тревоге молодого торговца потянуло на ферму, где прошло его детство и где жил единственный человек, с которым он мог поговорить по душам. Это был полоумный старик по имени Мук. Когда-то Эбенезер Каули нанял его в работники, и старый Мук так и остался на ферме после того, как ее продали. Он жил в одном из деревянных хлевов за фермой и целый день копошился в поле.

Полоумный Мук жил счастливо. Он с детским простодушием верил в то, что животные, живущие с ним в хлеву, — существа разумные, и, когда ему становилось скучно, старик вел продолжительные беседы с коровами и свиньями и даже с бегавшими по двору цыплятами. У старого Мука Эбенезер Каули и перенял свою поговорку. Когда Мук бывал удивлен или чем-нибудь взволнован, на лице у него появлялась бессмысленная улыбка и он бормотал: «Ну и ну! Пусть меня прокипятят, проутюжат и накрахмелят!»

Бросив работу, старик направился к лесу. Неожиданный приход Элмера не вызвал в нем ни удивления, ни любопытства. У старика тоже озябли ноги, он сидел на коряге у огня, радовался теплу и, по-видимому, проявлял полное равнодушие к рассказу Элмера.

Расхаживая перед стариком взад и вперед, размахивая длинными руками, молодой торговец говорил необычайно свободно и горячо:

— Конечно, тебе все равно, ведь ты не понимаешь, что со мной творится. А я больше не могу. Подумай только, как я рос. Отец у меня всегда был чудачком, да и мать тоже. И одевалась она по-чуждому, не как все. Ты посмотри, в каком сюртуке отец щеголяет по городу, и ведь главное, думает, вырядился, как на бал... А отчего он себе другой не купит? Невелик расход... Я-то знаю отчего... Отец у нас вообще не понимает что к чему. И мать не понимала... Вот Мэйбл у нас другая. Она понимает, да только все молчит... А я не буду молчать! Довольно на меня глаза пялили... Ты думаешь, Мук, что отец видит, какой у него магазин? Не магазин это — свалка разного хлама... Ему это и в голову не приходит... Иной раз забеспокоится, отчего нет покупателей, а что толку? Уйдет и, глядишь, какую-нибудь дрянь тащит... А по вечерам сидит у печки и уверяет, что дела пойдут на лад. Ему все нипочем. Чудак он... Что ему беспокоиться? Он же ничего в этом не смыслит.

Волнение Элмера все нарастало.

— Отец не смыслит, зато я смыслю! — крикнул он и уставился на тупое, равнодушное лицо дурачка Мука. — Я все отлично понимаю. Не могу я так больше... Когда мы жили на

ферме, все было по-другому... Днем наработаешься, ночью завалишься спать, и люди перед тобой не мельтешат целый день, и мысли не лезут в голову... Не то что теперь. Теперь в городе пойдешь вечером на почту или на станцию сходишь встретить поезд, и никто с тобой словом не перекинется. Стоят да языки чешут, а со мной ни слова. И тогда я себе таким чудачком кажусь... И язык у меня словно отнимается. И я ухожу. Так ничего им и сказать не могу. Не могу, хоть ты тресни.

Элмер больше не владел собой.

— Хватит! — рывкнул он, уставившись на голые ветви деревьев. — Сил моих нет все это терпеть. Не желаю!

Тупое лицо сидящего у костра старика привело его в бешенство, и в глазах Элмера засверкала та же ненависть, что и там, на дороге, когда он смотрел на Уайнсбург.

— Пошел отсюда! Иди работай! — заорал он. — Что с тобой разговаривать? — Вдруг голос его упал, и, словно в ответ на свои мысли, он тихо пробормотал: — Так, значит, я еще и трус, да? Знаешь, почему я поплелся пешком в такую даль? Мне надо было с кем-нибудь отвести душу. А кроме тебя, не с кем — подыскал чудачка себе под стать. От них-то я убежал... Не хватало духу поговорить с кем-нибудь, вроде Джорджа Уиларда. Пришел к тебе... А мне с Уилардом надо говорить — вот с кем. И я с ним еще поговорю!

И снова он стал кричать и размахивать руками:

— Я ему все скажу! Я больше не буду чудачком. Плевать мне на них на всех. С меня хватит!

Элмер Каули выбежал из леса, оставив полоумного Мука на коряге у костра. Вскоре старик поднялся, перелез через изгородь и вернулся к своей работе.

— Ишь ты, пусть меня прокипятят, проутюжат и накрахмалят! — заявил он. — Да, вот оно как... — Мук был явно озадачен. Он прошел вдоль межи к другому полю, где у стога две коровы жевали солому. — К нам Элмер приходил, — сообщил им Мук, — он спятил! Спрячьтесь-ка лучше за стог, чтобы не увидел. А то еще прибьет.

В тот же вечер, в восемь часов, в дверь редакции «Уайнсбургского орла», где в это время находился Джордж Уилард, просунулась голова Элмера Каули. Кепи Элмера было нахлобучено на самые глаза. Лицо выражало мрачную решимость.

— Поди сюда, — сказал он, входя и притворяя за собой дверь. Он крепко держался за ручку двери, так, словно решил никого больше не впускать. Выйдем-ка!

Элмер Каули и Джордж Уилард шли по Главной улице Уайнсбурга. Вечер был холодный, и Джордж надел новое пальто, в котором выглядел настоящим франтом. Засунув руки в карманы, он вопросительно смотрел на своего спутника. Ему давно хотелось подружиться с молодым лавочником и узнать, о чем он думает. Вот наконец представился случай, и Джордж очень обрадовался. «Интересно, зачем он меня вызвал? Может, принес какую-нибудь новость для газеты? Но какую же? Ведь пожара не было; я слышал бы колокол, и в городе все спокойно».

В холодный ноябрьский вечер на Главной улице Уайнсбурга попадалось очень мало прохожих. Да и те спешили по домам согреться у печки. Окна магазинов замерзли, железная вывеска над лестницей, у входа в кабинет доктора Уэлинга дребезжала на ветру. На тротуаре перед бакалейной лавкой Херна стояла корзина яблок и стойка с новыми швабрами. Элмер Каули остановился и уставился на Джорджа Уиларда. Нелепо двигая руками, словно работая насосом, он силился выдать из себя какие-то слова. Лицо его судорожно подергивалось, и казалось, он сейчас закричит.

— Убирайся! — заорал он вдруг. — Что стоишь? Ничего я тебе не скажу. Я на тебя и смотреть не хочу!

В полном смятении молодой лавочник часа три подряд бродил по улицам Уайнсбурга, не помня себя от гнева после встречи с Джорджем Уилардом, которому он так и не смог объявить, что больше не будет чудачком. Он познал горькое чувство поражения, и ему хотелось плакать. После целого дня пустых разглагольствований, завершившегося позорной встречей с молодым репортером, рушились все его надежды на будущее.

Вдруг Элмера осенила новая идея. И тогда в непроглядной тьме он увидел свет. Он направился к темному магазину, в котором Каули и сын вот уже больше года тщетно дожидались покупателей, крадучись, пробрался в дальний угол к ящику возле печки и стал в нем шарить. В ящике под стружками лежала жестяная коробка, в которой хранился наличный капитал фирмы «Каули и сын». Каждый вечер Эбенезер Каули запирает магазин, прятал коробку в ящик и отправлялся спать наверх. «Никто не догадается, что сюда прячут деньги», рассуждал он сам с собой, думая о ворах. Из свернутой в трубочку пачки денег Элмер взял двадцать долларов — две десятидолларовые бумажки. Всего в пачке было около четырехсот долларов. Деньги, полученные от продажи фермы. Прикрыв коробку стружками, Элмер снова тихо вышел на улицу.

Идея Элмера, которая, как он думал, положит конец всем его страданиям, была очень проста. «Возьму и удеру отсюда, убегу из дома», — решил он. Элмер знал, что в полночь через Уайнсбург проходит товарный поезд, который на заре прибывает в Кливленд. До Кливленда он доберется зайцем, а там затеряется в толпе. Он найдет себе работу в какой-нибудь мастерской и подружится с рабочими. Со временем он станет таким, как все, и никто не будет на него пальцем указывать. И тогда он научится разговаривать и смеяться. Никто больше его не назовет чужаком. И у него тоже будут друзья, и в жизни его тоже появится смысл и тепло.

Шагая по улице, неуклюжий, долговязый парень теперь смеялся над своей злостью и над тем, как он робел перед Джорджем Уилардом. До отъезда он еще поговорит с молодым репортером.

Он скажет ему все, он бросит ему вызов, и это будет вызов всему Уайнсбургу.

Окрыленный этим решением, Элмер направился прямо в контору гостиницы «Новый дом Уиларда» и забарабанил в дверь. Ему открыл сонный мальчишка, который спал тут же в конторе. Он работал бесплатно за харчи и с гордостью носил титул «ночного клерка». С ним Элмер вел себя решительно и смело.

— Пойди разбуди его, — приказал он. — Скажи ему, чтобы шел на станцию. Мне его надо видеть. Я уезжаю с ночным. Пускай оденется и придет. Да чтоб поскорее, мне некогда.

Ночной товарный закончил погрузку. Между вагонами, поблескивая фонарями, ходили сцепщики, поезд снова готовился в путь на восток. Протирая глаза, Джордж Уилард в своем новом пальто бежал по платформе.

— Ну вот и я, в чем дело? — спросил он, сгорая от любопытства. — Ты мне что-то хотел сказать, да?

Элмер силился заговорить. Он облизнул губы и глянул на поезд, который уже пыхтел, готовый к отходу.

— Э-э... я хочу... — начал он, но язык его не слушался. — Ну... Пусть меня прокипятят, проутюжат и накрахмелят! — невнятно пробормотал он наконец.

Вне себя от бешенства, словно в дикой пляске, заметался он по темной платформе. Поезд тронулся. Перед глазами Элмера кружились и мелькали огни, он вытащил из кармана две десятидолларовые бумажки и сунул их в руку Джорджа.

— Не надо мне их, отдай отцу. Я их украл.

Злобно зарывав, он повернулся к Джорджу, и его огромные кулаки принялись молотить воздух. А потом, словно вырываясь из чьих-то цепких рук, он бросился вперед и обрушился на Джорджа Уиларда, беспощадно колошматя его по груди, по шее, по лицу. Молодой репортер свалился на землю, оглушенный страшными ударами. Элмер на ходу вскочил на подножку, взобрался на крышу вагона, пробежал по крышам и спрыгнул на открытую платформу. Растянувшись плашмя, он оглянулся, стараясь в темноте разглядеть упавшего репортера. Великая гордость переполнила его сердце.

— Ну, теперь-то я ему показал! — вскричал он. — Будет знать, какой я чужак. Уж теперь запомнит, какой чужак!

ТАК И НЕ СКАЗАННАЯ НЕПРАВДА

Перевод П. Гурова

Рей Пирсон и Хэл Уинтерс работали на ферме в трех милях к северу от Уайнсбурга. Под вечер в субботу они уходили в город и шатались там по улицам вместе с другими батраками.

Рей был тихий, робкий человек лет пятидесяти, с каштановой бородкой. Его плечи горбились от нескончаемой тяжелой работы. По характеру он был прямой противоположностью Хэлу Уинтерсу.

Рей был, как говорится, человек степенный. Жена у него была маленькая, остроликая, с пронзительным голосом. Они вместе с полудюжиной кривоногих ребятишек жили в ветхой дощатой лачуге над ручьем на задах фермы Уилса, у которого Рей батрачил.

Хэл Уинтерс, другой батрак Уилса, был молодой парень. Он не состоял ни в каком родстве с семьей Неда Уинтерса, пользовавшейся в Уайнсбурге большим уважением, а был одним из трех сыновей старика Уиндпитера Уинтерса, у которого была лесопилка неподалеку от Юнионвилла, в шести милях оттуда и который слыл в Уайнсбурге отчаянным безобразником.

Обитатели той части Северного Огайо, где находится Уайнсбург, будут долго помнить старика Уиндпитера из-за его странной и трагической смерти. Как-то вечером он напился в городе и, возвращаясь домой в Юнионвилл, повернул лошадей и поехал по железнодорожным путям. Мясник Генри Браттенберг, который жил возле самых путей, остановил его у выезда из города и предупредил, что он едет прямо навстречу поезду, но Уиндпитер хлестнул его кнутом и поехал дальше. Поезд задавил его и его двух лошадей. Фермер с женой, которые возвращались домой по проселку, видели, как это произошло. Они рассказывали, что старик Уиндпитер стоял на козлах и бешено ругал мчащийся на него локомотив и что он прямо-таки завопил от радости, когда лошади, обезумев от непрерывных ударов кнута, рванулись вперед, навстречу верной гибели. В памяти мальчишек вроде Джорджа Уиларда и Сета Ричмонда этот случай запечатлелся особенно ярко, ведь — хотя наш городок дружно утверждал, будто старик угодил прямо в ад, да оно для всех и к лучшему, — они в душе были убеждены, что он сделал это нарочно, и восхищались его глупой храбростью. Какой мальчишка порой не жаждет умереть славной смертью вместо того, чтобы торговать в бакалейной лавочке, влача бесцветное существование?

Однако это не повесть о Уиндпитере Уинтерсе и не повесть о его сыне Хэле, который работал на ферме Уилса вместе с Реем Пирсоном. Это повесть о Рее. Тем не менее, чтобы вы могли понять суть, прежде необходимо кое-что рассказать о молодом Хэле.

Хэл был отпетый озорник. Так все говорили. У старика Уинтерса было трое сыновей: Джон, Хэл и Эдвард, широкоплечие дюжие молодцы, вроде самого Уиндпитера, драчуны и бабники — ну, одно слово, отпетые озорники.

Хэл был даже хуже братьев и всегда что-нибудь затевал. Как-то раз он украл целую повозку досок с отцовской лесопилки и продал их в Уайнсбурге. На вырученные деньги он купил себе шикарный дешевый костюм и напился. Когда разъяренный папаша прикатил в город и разыскал его, они подрались посреди Главной улицы, так что их арестовали и они вместе угодили за решетку.

Хэл пошел работать на ферму Уилса только потому, что по соседству там жила учительница, на которую он положил глаз. Было ему тогда всего двадцать два, но к этому времени он уже раза три «впутывался в истории с женщинами», как это называлось в Уайнсбурге. Все, кто слышал про его увлечение молоденькой учительницей, не сомневались, что это кончится плохо. «Доведет он ее до беды, вот увидите» — так говорили в округе.

И вот эти двое, Рей и Хэл, как-то на исходе октября работали рядом в поле. Они обдирали кукурузные початки, изредка пошучивали и смеялись. Потом наступило молчание. Рей, который был более чувствителен и больше принимал все к сердцу, натрудил руки, и они

заныли. Он сунул их в карманы и поглядел вдаль за поля. Он был в грустном, тревожном настроении, и окружающая красота природы глубоко на него подействовала.

Если бы вы видели окрестности Уайнсбурга осенью, когда пологие холмы становятся желто-красными, вы поняли бы его чувства. Ему вспомнилось, как в давние годы, когда он был молодым парнем и еще жил с отцом, который был пекарем в Уайнсбурге, он в такие дни уходил бродить по лесам — собирал орехи, охотился на кроликов или просто покуривал трубку. И женился-то он из-за такой вот прогулки. Уговорил девушку, которая помогала в пекарне, пойти с ним, ну, а кончилось вот чем. Он вспомнил тот день, который изменил всю его жизнь, и все в нем взбунтовалось. Забыв про Хэла, он пробормотал:

— Ну и надула же она меня, черт подери, — жизнь надула и в дураки поставила.

И, словно поняв, о чем он думает, Хэл Уинтерс заговорил.

— Ну, и стоило оно того? А? Женильба там, семья? — спросил он и засмеялся. Засмеяться-то он засмеялся, но и у него настроение было серьезное. И он продолжал уже серьезно: — Это что же — обязательно? Чтобы человека взнуздали, да и гнали через всю жизнь, точно ломувую лошадь?

Не дожидаясь ответа, Хэл вскочил и начал расхаживать между ворохами кукурузы. Распалаясь все больше и больше, он вдруг нагнулся, схватил желтый кукурузный початок и швырнул его об изгородь.

— Я довел Нелл Хантер до беды, — сказал он. — Ты-то знай, но язык держи за зубами.

Рей Пирсон поднялся на ноги и уставился на него. Он был на голову ниже Хэла, и, когда парень подошел к нему и положил ладони ему на плечи, получилась живописная группа. Вокруг было огромное пустое поле, позади них тянулись аккуратные ряды кукурузных стожков, вдали вставали желто-красные холмы — и они уже не были двумя ко всему равнодушными работниками, а стали друг для друга живыми людьми. Хэл почувствовал это и, по своему обыкновению, засмеялся.

— Ну-ка, папаша, — сказал он неловко. — Давай помоги мне советом. Я довел Нелл до беды. Может, и с тобой такое было. Я знаю, что мне другие скажут — ну, как тут положено поступать, а вот ты-то что скажешь? Жениться и остепениться? Влезть в хомут, чтобы меня загнали, как старого одра? Ты меня знаешь, Рей. Я не такой, чтобы меня кто другой сломал, но сам себя сломать сумею. Так как же — сломать мне себя или послать Нелл к черту? Вот ты мне и скажи. Как ты скажешь, Рей, так я и сделаю.

Рей не сумел ответить. Он стряхнул с плеч руки Хэла, повернулся и зашагал к амбару. Он был чувствительным человеком, и на глаза у него навернулись слезы. Ответить Хэлу Уинтерсу, сыну старого Уиндпитера Уинтерса, можно было только одно — только одного ответа требовали все привитые ему с детства понятия и привычные взгляды всех людей, которых он знал, и тем не менее у него не было сил сказать то, что он обязан был сказать.

К вечеру, в половине пятого, Рей возился у амбара, и тут с тропы, идущей вдоль ручья, его окликнула жена. После разговора с Хэлом он не вернулся на кукурузное поле, а остался около амбара.

Он уже закончил всю вечернюю работу и видел, как из дома вышел Хэл, переодевшийся для гулянки в городе, и зашагал по дороге. Рей, глядя в землю, брел следом за женой по тропке, ведущей к их дому, и размышлял. Он никак не мог уловить, что, собственно, неладно. Каждый раз, когда он поднимал глаза и видел в меркнушем свете красоту полей и холмов вокруг, ему хотелось сделать что-то, чего он никогда прежде не делал: закричать, застонать, наброситься с кулаками на жену или решиться еще на что-нибудь не менее неожиданное и страшное. Он шел по тропке, почесывая затылок, и пытался разобраться, в чем дело. Он пристально вглядывался в спину жены, но жена как будто была такой же, как всегда.

Она пришла за ним, чтобы послать его в город, в бакалейную лавку, но, едва объяснив ему, что надо купить, принялась его пилить.

— Ты всегда еле ноги волочишь, — говорила она. — Но на этот раз сделай милость, поторопись. Дома на ужин ничего нет, так что обернись в город и обратно одним духом.

Рей зашел в дом и снял пальто с крючка за дверью. Карманы были выдраны, воротник лоснился. Его жена сходила в спальню и вернулась с засаленной тряпицей в одной руке и тремя серебряными долларами в другой. Где-то в доме отчаянно заплакал ребенок, и спавшая у плиты собака встала и потянулась. Его жена снова начала браниться.

— Теперь они все примутся реветь, не уймешь. И чего ты всегда еле ноги волочишь? — спросила она.

Рей вышел из дома, перелез через изгородь и зашагал по полю. Уже наступили сумерки, и вид, открывшийся перед ним, был исполнен удивительной прелести. Пологие холмы словно купались в красках, и даже кусты у изгороди казались невыразимо прекрасными. Рею Пирсону чудилось, что весь мир стал удивительно живым, точно так же, как они с Хэлом вдруг ощутили себя удивительно живыми, когда стояли на кукурузном поле и смотрели в глаза друг другу.

В этот осенний вечер у Рея не хватало сил вынести красоту полей и холмов под Уайнсбургом. Только и всего. Она его подавляла. И вдруг он забыл, что он — тихий старый батрак, и, сбросив рваное пальто, побежал напрямик через поле. И на бегу он кричал, протестуя против своей жизни, против всякой жизни, против всего, что делает жизнь безобразной.

— Ведь никаких обещаний не было! — крикнул он в пустой простор, расстилавшийся перед ним. — Я ничего моей Минни не обещал, и Хэл тоже ничего не обещал Нелл. Я знаю, что не обещал. Она пошла с ним в лес, потому что хотела пойти. И она хотела того же, чего хотел он. Почему должен расплачиваться я? Почему должен расплачиваться Хэл? Почему кто-то должен расплачиваться? Я не хочу, чтобы Хэл стал замученным стариком. Я ему объясню. Я не дам, чтобы это продолжалось. Я перехвачу Хэла прежде, чем он доберется до городка, и объясню ему.

Рей бежал неуклюже, один раз даже споткнулся и упал. «Я должен перехватить Хэла и объяснить ему», — думал он и все бежал и бежал, хотя дыхание со свистом вырывалось у него из груди. И на бегу он думал о том, о чем не вспоминал много лет, — как до женитьбы собирался уехать к дяде в Портленд, в штат Орегон, потому что хотел идти в батраки и надеялся, что на Дальнем Западе доберется до океана и станет матросом или устроится на ранчо и будет врываться в западные городки верхом на лошади, кричать, хохотать и будить спящих жителей своими буйными воплями. Потом на бегу он вспомнил своих детей, и ему померещилось, что их ручонки цепляются за него. Но все его мысли о себе перепутывались с мыслями о Хэле, и ему казалось, что за молодого парня тоже цепляются дети.

— Хэл, это случайность, которую подстроила жизнь, — крикнул он. — Они не мои и не твои. Они сами по себе, а я сам по себе.

Рей Пирсон все бежал и бежал, а темнота уже окутала поля. Его дыхание превратилось в хрип. Когда он добрался до изгороди у дороги, по которой небрежной походкой, покуривая трубку, шел в город щегольски одетый Хэл Уинтерс, у него не было сил выговорить то, что он думал и что хотел сказать.

Рей Пирсон оробел, и на этом, собственно, кончается повесть о том, что с ним произошло. Когда он добрался до изгороди, положил руки на верхнюю жердь и замер, глядя прямо перед собой, было уже совсем темно. Хэл Уинтерс перепрыгнул через канаву, подошел к Рею почти вплотную, сунул руки в карманы и засмеялся. Он как будто совсем забыл все, что почувствовал на кукурузном поле, и когда сильной рукой ухватил Рея за лацкан, то просто встряхнул старика, как нашкодившую собаку.

— Пришел мне советовать, а? — сказал он. — Ну, можешь ничего не говорить. Я не трус и уже сам все решил. — Он снова засмеялся и прыгнул через канаву назад на дорогу. — Нелл не дура, — сказал он. — Она не просила, чтобы я на ней женился. Я сам хочу на ней жениться. Хочу завести свой дом и ребятню.

Рей Пирсон тоже засмеялся. Ему хотелось смеяться и смеяться — над собой и над всем миром.

Когда фигура Хэла Уинтерса исчезла во тьме, окутавшей дорогу, которая вела в

Уайнсбург, он повернулся и медленно побрел по полю туда, где оставил свое рваное пальто. И пока он шел, ему, наверное, вспомнились все те приятные вечера, которые он провел со своими кривоногими детьми в ветхой лачуге над ручьем, — во всяком случае, он начал бормотать про себя:

— Может, оно и к лучшему. Что бы я ему ни сказал, все равно вышла бы неправда. Потом он умолк, и его фигура тоже растаяла во тьме, окутавшей поля.

ВЫПИЛ

Перевод В. Голышева

Том Фостер приехал из Цинциннати в Уайнсбург молодым человеком, с душой открытой для новых впечатлений. Бабка его выросла тут на пригородной ферме и училась в здешней школе, когда Уайнсбург был поселком из двенадцати — пятнадцати домов, окружавших магазин на Вертлюжной заставе.

Что за жизнь прожила бабка с тех пор, как покинула поселок первопроходцев, до чего крепка и смекалиста была маленькая старушка! Она повидала и Канзас, и Канаду, и Нью-Йорк, разъезжая со своим мужем-механиком до самой его смерти. Потом она поселилась с дочерью, которая тоже вышла за механика, и жила в Ковингтоне, Кентукки, по ту сторону реки от Цинциннати.

Тут настали для бабки Тома тяжелые годы. Сперва ее зятя убил во время забастовки полицейский, потом мать Тома стала инвалидкой и тоже умерла. У бабки были небольшие сбережения, но их съели болезнь дочери и двое похорон. Она превратилась в старую измотанную работницу и жила над лавкой старьевщика в одном из переулков Цинциннати. Пять лет она мыла полы в конторском здании, а потом устроилась судомойкой в ресторан. Руки у нее были искореженные. Когда она бралась за ручку швабры или щетки, они напоминали сухую лозу, приторочившуюся к дереву.

Старуха вернулась в Уайнсбург при первой же возможности. Однажды вечером, возвращаясь с работы, она нашла бумажник с тридцатью семью долларами — и теперь путь был открыт. Для мальчика переезд был большим приключением. Бабка пришла домой в восьмом часу вечера; она сжимала в старческих руках бумажник и так разволновалась, что едва могла говорить. Она настояла на том, чтобы выехать из Цинциннати в тот же вечер, — если остаться до утра, хозяин бумажника наверняка их разыщет и поднимет шум. Тому, которому было тогда шестнадцать лет, пришлось тащиться с бабкой на станцию и нести на спине все их земные пожитки, увязанные в вытертое одеяло. Бабка шла рядом и поторапливала. Ее беззубый старый рот нервно подергивался, и, когда уставший Том хотел на перекрестке скинуть узел на землю, она подхватила его и взвалила бы себе на спину, если бы не помешал внук. Когда они сели в поезд и город остался позади, бабка радовалась, как девочка, и Тому еще ни разу не приходилось видеть ее такой разговорчивой.

Всю ночь под грохот поезда она потчевала внука рассказами о Уайнсбурге и о том, как интересно ему будет работать в поле и стрелять в лесу дичь. Она не могла поверить, что за пятьдесят лет ее отсутствия крохотный поселок превратился в оживленный город, и утром, когда поезд остановился в Уайнсбурге, не захотела выходить.

«Не этого я ожидала, — сказала она. — Тут тебе, чего доброго, туго придется». И поезд тронулся дальше, а они стояли в растерянности перед уайнсбургским носильщиком Альбертом Лонгвортом, не зная, куда податься.

Однако Том Фостер тут прижился. Он был такой, что прижился бы где угодно. Жена банкира Уайта взяла бабку работать на кухне, а Том получил должность помощника конюха в новой кирпичной конюшне банкира.

В Уайнсбурге трудно было найти прислугу. Если хозяйке нужна была помощь по дому, она нанимала «девушку», которая требовала, чтобы ее сажали за хозяйский стол. Жене Уайта

девушки до смерти надоели, и она ухватилась за старую горожанку. Мальчику Тому отвели комнату над конюшней. «Управится с лошадьми — будет стричь лужайку и бегать с поручениями», — объяснила банкирша мужу.

Том Фостер был мал для своих лет, большеголов, и его жесткие черные волосы стояли торчком. Шапка волос еще больше увеличивала голову. Тише голос, чем у него, трудно себе и представить, и сам он был таким тихим и мягким, что вошел в жизнь города, не обратив на себя ничего внимания.

Можно было только удивляться, откуда у Тома Фостера столько мягкости. Там, где он жил в Цинциннати, по улицам бродили шайки хулиганов, и все свои мальчишеские годы он водил компанию с хулиганами. Одно время он разносил телеграммы и обслуживал район, изобиловавший публичными домами. Тамошние женщины знали и любили Тома Фостера, хулиганы его тоже любили.

Он никогда себя не утверждал. Это его и спасало. Станным образом, он стоял как бы в тени, под стенами жизни, рожден был стоять под ее стенами. Он видел мужчин и женщин в домах похоти, наблюдал случайные и мерзкие любовные их связи, видел, как дерутся ребята, слушал их рассказы о попойках и воровских похождениях — но его это не трогало, к нему не приставало.

Однажды все-таки Том украл. Это случилось еще в Цинциннати. Бабка тогда болела, а он остался без работы. В доме нечего было есть, и он вошел в шорную лавку в переулке и украл из ящика кассы доллар семьдесят пять центов.

Хозяином лавки был старик с длинными усами. Он видел, что мальчик околачивается в магазине, но не придавал этому значения. Когда он вышел поговорить с возчиком, Том открыл ящик кассы, взял деньги и был таков. После об этом дознались, но бабка уладила дело, предложив два раза в неделю в течение месяца мыть в лавке пол. Мальчик был пристыжен, но при этом радовался. «Опозориться — тоже хорошо: зато я кое-что понял», — сказал он бабке, которая не могла взять в толк, о чем он говорит, но так его любила, что не считала и обязательным понимать.

Год он прожил на конюшне у банкира, а потом потерял место. Он не слишком прилежно ухаживал за лошадьми и постоянно раздражал банкиршу. Она велела ему подстричь лужайку, он забывал. Она посылала его в магазин или на почту, он не возвращался, а, примкнув к группе мужчин или ребят, проводил с ними весь конец дня, стоял и слушал, а иногда и произносил несколько слов, если его спрашивали. Как и прежде — в публичных домах большого города или на улице ночью, с буйной ватагой — он сохранял способность быть частью, но не быть участником этой жизни.

Потеряв место у банкира, он больше не жил с бабкой, хотя вечерами она часто его навещала. Он снимал комнату у старика Руфуса Уайтинга — в задней части его деревянного дома. Дом стоял на улице Дуэйна, рядом с Главной улицей, и много лет служил старику адвокатской конторой — тот, правда, стал чересчур дряхл и забывчив, чтобы исправлять свои обязанности, но непригодным себя не считал. Том ему понравился, и за комнату он запросил доллар в месяц. В конце дня, когда адвокат уходил домой, Том оставался тут единоличным хозяином и часами лежал на полу у печки, думая о разных разностях. Вечером приходила бабка, усаживалась в адвокатское кресло и курила трубку, а Том, как всегда при людях, молчал.

Старуха часто говорила с большим жаром. Иногда возмущалась каким-нибудь происшествием в доме банкира и часами ворчала. Из собственных заработков она купила швабру и регулярно мыла в конторе пол. Отдраив контору дочиста, так что там и пахло чисто, она брала свою глиняную трубку и устраивала с Томом перекур. «Когда ты соберешься умереть, я тоже умру», говорила она внуку, который лежал на полу около ее кресла.

Тому Фостеру нравилась жизнь в Уайнсбурге. Он пробавлялся случайными работами — пилил, например, дрова для кухонных плит, выкашивал лужайки перед домами. В конце мая и начале июня собирал на плантациях клубнику. Хватало у него времени и на безделье, а

бездельничать он любил. Банкир Уайт подарил ему старый пиджак, который был Тому велик, но бабка пиджак ушила; еще у него была оттуда же шуба, подбитая мехом. Мех местами вытерся, но шуба была теплая, и зимой Том в ней спал. Он считал такой способ существования вполне подходящим, был доволен и счастлив тем, как обернулась к нему в Уайнсбурге жизнь.

Радость Тому доставляли даже самые нелепые пустяки. За это, я думаю, его и любили люди. В бакалее Херна по пятницам, готовясь к субботнему наплыву покупателей, жарили кофе, и крепкий его аромат затоплял южную часть Главной улицы. Появлялся Том Фостер и усаживался на ящик в тыльной части магазина. Он час не сходил с места; сидел неподвижно, насыщая себя заморским ароматом, и пьянел от счастья. «Хорошо, — мягко говорил Том. — О далеком думаешь, о разных далеких краях и вещах».

Однажды вечером Том напился. Получилось это любопытным образом. До сих пор он никогда не напивался и даже не пробовал ни разу ничего хмельного, но тут почувствовал, что ему надо напиться, — и так и сделал.

Живя в Цинциннати, Том многое узнал — узнал и мерзость, и похоть, и преступление. По правде говоря, он знал об этом больше любого уайнсбуржца. В особенно отвратительном виде перед ним предстала половая жизнь, и это сильно на него подействовало. Насмотревшись на то, как стоят холодной ночью женщины перед грязными домами и какими глазами глядят мужчины, когда останавливаются и заговаривают с ними, Том решил, что из своей жизни он изгонит это напрочь. Однажды женщина из того квартала стала его соблазнять, и он вошел с ней в комнату. Он не мог забыть ни запаха этой комнаты, ни глаз женщины, вдруг вспыхнувших алчностью. Ему стало тошно, и на душе его остался ужасный шрам. Раньше женщины представлялись ему вполне невинными созданиями, вроде его бабки, но после этого случая он выкинул женщин из головы. По натуре он был так мягок, что ненавидеть вообще не умел; понять не мог тоже и поэтому решил забыть.

И забыл — до переезда в Уайнсбург. Но когда он прожил тут два года, что-то в нем зашевелилось. Вокруг себя он видел молодежь, увлеченную любовью, а он тоже был молод. И даже не заметил, как влюбился сам. Он влюбился в Элен Уайт, дочь бывшего своего хозяина, и вдруг стал думать о ней по ночам.

Вот какое возникло у Тома затруднение, и он решил его на свой манер. Он позволял себе думать об Элен Уайт всякий раз, когда она являлась ему в мыслях, и только за тем следил, как он о ней думает. Он вел борьбу, тихую решительную борьбу с собой, за то, чтобы удержать свои желания в таком русле, в каком, по его мнению, им полагалось быть, и в общем вышел из этой борьбы победителем.

А потом настала весенняя ночь, когда он напился. В эту ночь Том был буен. Он был похож на молодого оленя в лесу, наевшегося какой-то бешеной травки. Все началось, прошло и закончилось в одну ночь, и можете быть уверены, что от его буянства никому в Уайнсбурге хуже не стало.

Во-первых, ночь была такая, что впечатлительная душа от нее одной могла опьянеть. Деревья на лучших улицах только что оделись нежной зеленой листвой, в огородах за домами копались люди, и в воздухе было затишье, тишь ожидания, которая очень волнует кровь.

Том вышел из комнаты на улице Дуэйна, когда ночь только-только вступала в свои права. Сперва он гулял по улицам, тихим и легким шагом, думал думы и старался выразить их словами. Он сказал, что Элен Уайт — это пламя, пляшущее в воздухе, а сам он — деревце без листвы, четко очерченное в небе. Потом он сказал, что Элен — ветер, сильный, страшный ветер, несущийся из тьмы над бурным морем, а сам он — лодка, брошенная рыбаком на морском берегу.

Эта идея Тому понравилась, и он брел, забавляясь ею. Он вышел на Главную улицу и сел на обочине тротуара перед табачной лавкой Уокера. Он побыл там с час, слушая разговоры мужчин, но ему стало скучновато, и он потихоньку ушел. Потом он решил напиться, завернул в салун Уилли и купил бутылку виски. Он сунул ее в карман и

отправился за город — ему хотелось побыть одному, подумать еще о чем-нибудь и выпить виски.

Том напился, сидя на молодой травке у дороги, примерно в миле к северу от города. Перед ним лежала белая дорога, а за спиной цвел яблоневоый сад. Он отпил из бутылки и лег на траву. Он думал об утрах Уайнсбурга, о том, как сверкали на солнце покрытые росой зернышки гравия на подъезде к дому банкира Уайта. О ночах в конюшне, когда шел дождь, а он не спал, слушал, как барабанят капли, и дышал теплым запахом лошадей и сена. Потом он подумал о грозе, пронесшейся над Уайнсбургом несколько дней назад, а потом в памяти ожила давняя ночь в поезде, когда они с бабкой уезжали из Цинциннати. Он с отчетливостью вспомнил, как странно было сидеть без движения и ощущать силу паровоза, мчавшего поезд сквозь ночь.

Напился Том очень быстро. Мысли сменяли друг дружку, и он прикладывался к бутылке, а когда голова закружилась, встал и побрел прочь от Уайнсбурга. На дороге, которая вела из Уайнсбурга на север, к озеру Эри, был мост, к этому мосту и пришел пьяный мальчик. Там он сел. Он хотел выпить еще, но, когда откупорил бутылку, ему стало плохо, и он сразу ее заткнул. Голова у него моталась, он сел на каменном въезде и вздохнул. Ему казалось, что голова раскручивается, как бумажная вертушка, а потом отлетает в пространство; ноги и руки болтались каждая сама по себе.

В одиннадцать часов Том приплелся в город. Его повстречал Джордж Уилард и привел в типографию «Орла». Потом он испугался, что пьяный мальчик запачкает пол, и сводил его в переулок. Том Фостер озадачил репортера. Пьяный мальчик говорил об Элен Уайт — сказал, что был с ней на берегу моря и там обнимал ее. Джордж, который видел Элен Уайт сегодня вечером — она шла по улице с отцом, — решил, что Том не в своем уме. Он сам был равнодушен к Элен Уайт, и слова Тома заделали его за живое.

— А ну, кончай это, — сказал он со злостью. — Я не позволю трепать имя Элен Уайт. Не позволю. — Чтобы до Тома дошло, он стал трясти его за плечо. — Кончай, — повторил он.

Три часа провели в типографии случайно сошедшиеся молодые люди. Когда Том немного протрезвел, Джордж вывел его прогуляться. Они вышли за город и у опушки леса сели на бревно. Тихая ночь как-то сблизила их; чуть погода в голове у пьяного мальчика прояснилось, и они стали беседовать.

— Полезно было напиться, — сказал Том Фостер. — Это мне наука. Больше мне это не понадобится. Яснее теперь буду думать. Понимаешь, какое дело?

Джордж Уилард не понимал, но злость из-за Элен Уайт у него уже прошла, и он чувствовал, что его тянет к этому бледному, ослабевшему пареньку, как ни к кому еще не тянуло. Он с материнской участливостью уговаривал Тома встать и походить. Они снова пришли в типографию и молча уселись в темноте.

У молодого репортера все не укладывалось в голове, для чего Том Фостер напился. Когда Том опять завел речь об Элен Уайт, Джордж снова рассердился и отчитал его.

— Кончай это, — сердито сказал он. — Не был ты с ней. Для чего ты так говоришь? Что ты заладил? А ну, кончай, слышишь?

Тому стало обидно. Он не мог поспорить с Джорджем Уилардом, потому что не умел ссориться, — и просто встал, чтобы уйти. Джордж Уилард его удерживал, и тогда он положил руку ему на плечо и попытался объяснить.

— Ну, я не знаю, как это получилось, — тихо сказал он. — Я был счастлив. Понимаешь, что получилось. Элен Уайт сделала меня счастливым, ночь сделала. Я хотел помучиться, чтобы было больно. Подумал, надо попробовать так. Я хотел помучиться, понимаешь, — потому что все мучаются и все поступают нехорошо. Я разное думал попробовать — но все не годилось. Все получалось бы кому-то во вред.

Голос у Тома окреп, и он чуть даже не разволновался первый раз в жизни.

— Это было все равно как любить, вот про что я тебе говорю, — объяснил он. — Понимаешь ты, что получается? Я сделал это и мучился, и все стало каким-то другим. Вот

для чего я это сделал. И очень хорошо. Это мне наука вот что; этого я и хотел. Понимаешь? На себе хотел узнать, понятно? Вот зачем я это сделал.

СМЕРТЬ

Перевод В. Голышева

Лестница в кабинет доктора Рифи, над мануфактурным магазином «Париж» в квартале Хефнера, освещалась тускло. Над верхней площадкой, на кронштейне, висела лампа с закопченным стеклом. У лампы был отражатель, бурый от ржавчины и пыльный. Люди, поднимаясь вверх, ступали по следам множества своих предшественников. Мягкое дерево ступеней истерлось под подошвами, и глубокие впадины обозначали их путь.

Наверху вы поворачивали направо и оказывались перед дверью доктора. По левую руку был темный коридор, заваленный рухлядью. Старые стулья, козлы, стремянки, порожние ящики дожидались в темноте, кому бы ободрать лодыжку. Рухлядь принадлежала мануфактурной фирме «Париж». Ненужную полку или прилавок приказчики втаскивали наверх и швыряли в кучу.

Кабинет у доктора был просторный, как сарай. Посреди него расселась пузатая печка. Вокруг нее в загородке из толстых досок, прибитых к полу, были навалены опилки. Возле двери стоял исполинский стол, некогда принадлежавший магазину одежды Херрика, где на нем раскидывали перед клиентами сшитое на заказ. Он был завален книгами, склянками и хирургическими инструментами. На краю лежали три-четыре яблока — дары садовода Джона Спенъирда, который был другом доктора и, войдя в кабинет, выгребал их из кармана на стол.

В зрелые годы доктор Рифи был высок и неуклюж. Седой бороды еще не было, ее он отпустил позже, — но были каштановые усы. Изяществом, как в пожилом возрасте, он тогда не отличался и был постоянно озабочен тем, куда девать руки и ноги.

Летом, в конце дня, по стертым ступеням к доктору Рифи иногда поднималась Элизабет Уилард, давно замужняя, мать тринадцатилетнего Джорджа. Высокая женщина уже заметно гнулась и без радости таскала свое тело. Доктора она посещала под предлогом болезни, но в конечном счете все пять или шесть ее визитов имели к медицине лишь косвенное отношение. Говорила она с доктором и о болезни, но больше они говорили о ее жизни, о жизни их обоих и о тех мыслях, к которым привела их жизнь в Уайнсбурге.

В большом пустом кабинете сидели, глядя друг на друга, мужчина и женщина, и у них было много общего. Они отличались друг от друга телосложением, а также цветом глаз и длиной носа, разные были у них и обстоятельства жизни, но что-то у них внутри было направлено к одному и тому же, искало одного и того же выхода, оставило бы одинаковый след в памяти наблюдателя. Позже, когда доктор постарел и женился на молодой, он часто рассказывал ей об этих часах, проведенных с больной женщиной, и сумел выразить многое такое, чего не мог выразить в разговорах с Элизабет. Под старость он сделался почти поэтом, и то, что происходило тогда, приобрело в его воспоминаниях поэтическую окраску.

— В моей жизни наступило такое время, когда необходима молитва, — и я придумал богов и стал им молиться, — сказал он. — Я не облакал молитву в слова и не опускался на колени, а сидел не шевелясь в кресле. В конце дня, когда на Главной улице тихо и жарко, и зимой, в пасмурную погоду, боги приходили ко мне в кабинет, и я думал, что никто о них не знает. Но вот оказалось, что она, Элизабет, знает, что и она поклоняется тем же богам. Сдается мне, она потому и приходила, что надеялась их застать, — не знаю, так или нет, но все равно ей было радостно, что она не одна. Это переживание не объяснишь, хотя я думаю, оно бывает у многих мужчин и женщин, и в самых разных местах.

В летние дни, когда Элизабет и доктор вели беседы о своей жизни, они беседовали и о чужих жизнях. У доктора иногда получались философские изречения. И он посмеивался от удовольствия. Бывало, они молчат, и вдруг сказано слово, брошен намек, и жизнь говорящего осветилась неожиданно, желательное стало желанным, полуугасшая мечта вспыхнула и ожила. Большею частью слова принадлежали женщине, и она произносила их, не глядя на мужчину.

С каждым приходом жена хозяина гостиницы разговаривала чуть свободнее, и, побыв с доктором час-другой, она спускалась по лестнице на Главную улицу, чувствуя себя обновленной и не такой бессильной перед серостью своих дней. Шла она непринужденно, почти как девушка, но в комнате у себя опять усаживалась в кресло у окна, за окном смеркалось, и, когда гостиничная прислуга подавала ей на подносе обед из столовой, он был стыл. Мыслями она уносилась в девичество с его острой жаждой приключений и вспоминала мужские руки, обнимавшие ее в ту пору, когда приключение еще было возможно. Особенно вспоминала она одного — он был ее любовником и в минуты страсти раз по сто и больше кричал ей одни и те же слова, повторяя их, как безумный: «Ты, милая! Ты, милая! Милая, хорошая!» Слова эти, думала она, обозначали что-то такое, что ей хотелось бы получить от жизни.

У себя в комнате, в захудалой гостинице, больная жена хозяина начинала плакать, закрывала лицо руками и раскачивалась взад и вперед. В ушах у нее звучали слова ее единственного друга доктора Рифи. «Любовь — как ветер черной ночью, колышущий траву под деревьями, — говорил он. — Не добивайтесь от любви ясности. Она — божественная случайность жизни. Захотите от нее ясности и определенности, жить захотите под деревьями, где веет ночной ветер, — тогда сразу наступает долгий душный день разочарования и на губах, горячих и разнеженных от поцелуев, оседает скрипучая пыль из-под колес».

Элизабет Уилард не помнила матери — мать умерла, когда ей было пять лет. Детство у нее сложилось — бестолковее не бывает. Отец хотел только одного: чтобы его оставили в покое, а гостиница с ее хозяйством покоя не давала. Всю жизнь до самой смерти он был больным. Каждое утро он просыпался с веселым лицом, но к десяти часам от радости в его сердце не оставалось и следа. Когда постоялец жаловался на плохой стол или, выйдя замуж, увольнялась горничная, он топал ногами и ругался. Ночью, улегшись в постель, он думал о том, что дочь растет на ходу у толпы, текущей через гостиницу, и предавался грусти. Когда девочка повзрослела и стала прогуливаться по вечерам с мужчинами, он все хотел побеседовать с ней, но беседы никак не получалось. Отец забывал, о чем хотел сказать, и только жаловался на свои неприятности.

В юные годы и молодой женщиной Элизабет усердно искала в жизни приключений. К восемнадцати годам жизнь взяла ее в такой оборот, что она уже не была девушкой, но, хотя до замужества с Томом Уилардом она успела сменить с полдюжины любовников, она ни разу не вступила в связь, повинувшись одному лишь вожделению. Как всем женщинам на свете, ей хотелось настоящего возлюбленного. Вслепую, жадно искала она в жизни чего-то иного, какого-то потаенного чуда. Высокая красавица с непринужденной походкой, гулявшая с мужчинами под деревьями, все тянула руку во тьму, пытаясь нащупать там еще чью-то руку. В шуме слов, исходивших от ее спутников по приключениям, она пыталась уловить то, что стало бы для нее истинным словом.

За Тома Уиларда, служащего отцовской гостиницы, она вышла потому, что он был под боком и как раз хотел жениться, когда она решила выйти замуж. Одно время, как и большинство девушек, она думала, что после замужества жизнь примет совсем другое обличье. Если и были у нее сомнения насчет того, что может выйти из её брака с Томом, она их отбросила. Больной отец был на краю могилы, а сама она — в растерянности после только что закончившегося и бессмысленного по своим результатам романа. Ее сверстницы в

Уайнсбурге выходили за мужчин, которых она знала всю жизнь, — за приказчиков из бакалейных магазинов, за молодых фермеров. Вечером они гуляли с мужьями по Главной улице и счастливо улыбались. Она стала думать, что брак сам по себе может быть полон какого-то скрытого значения. Молодые жены, с которыми она встречалась, разговаривали застенчиво и нежно. «Когда у тебя — свой мужчина, это совсем другое дело», — говорили они.

Вечером накануне свадьбы потерянная женщина беседовала с отцом. Позже Элизабет спрашивала себя, не из-за того ли она и вышла замуж, что столько времени проводила наедине с больным. Отец говорил о своей жизни и предостерегал Элизабет, чтобы она не дала завести себя в такое же болото. Он поносил Тома Уилларда, и дочери пришлось за него вступить. Больной разволновался и хотел слезть с кровати. Она не разрешила ему встать, и тогда он начал жаловаться.

— Никогда меня не оставляли в покое, — сказал он. — Работал много, а гостиницу так и не сделал доходной. Я и сейчас должен банку. Все сама увидишь, когда я умру.

В голосе больного звучала глубокая серьезность. Он не мог подняться и поэтому протянул руку, чтобы привлечь к себе голову дочери.

— Спасти еще можно, — прошептал он. — Не выходи за Тома и ни за кого из уайнсбургских. У меня в сундуке, в железной шкатулке, восемьсот долларов. Возьми их и уезжай.

Голос у больного опять стал жалобным.

— Ты должна обещать, — сказал он. — Если не можешь обещать, что не выйдешь за Тома, дай слово, что никогда не скажешь ему про эти деньги. Они мои, я их тебе даю и имею право поставить это условие. Спрячь их. Пусть они будут платой тебе за то, что я был плохим отцом. Когда-нибудь они откроют тебе дорогу, широкую, свободную дорогу. Ну же, слышишь, я умираю, дай мне слово.

* * *

В кабинете доктора Рифи в кресле у печки сидела, потупясь, Элизабет, усталая худая женщина, которой шел только сорок второй год. У окна возле письменного столика сидел доктор. Он взял со стола карандаш и вертел его в руках. Элизабет рассказывала о своей замужней жизни. Она рассказывала отвлеченно, вовсе забыв о муже, и, лишь когда ей надо было что-то уточнить, он появлялся в роли как бы куклы.

— А потом я вышла замуж, и ничего хорошего из этого не получилось, — с горечью сказала она. — Я сразу же начала бояться. Может быть, я слишком много успела узнать до этого, а может быть, в первую нашу ночь с ним выяснилось слишком много. Не помню.

Какая же я была дура. Отец дал мне деньги и отговаривал меня от замужества, а я и слушать его не хотела. Вспоминала, что мне говорили замужние женщины, — и тоже хотела замуж. Мне не Том был нужен, а муж. Отец задремал, я высунулась в окно и стала думать о том, как я жила. Я не хотела быть дурной женщиной. В городе про меня ходили всякие слухи. Я даже боялась, что Том раздумает.

Голос у женщины задрожал от волнения. У доктора Рифи, который уже полюбил ее, только не отдавал себе в этом отчета, возникла странная иллюзия. Ему казалось, что, когда она говорит, меняется ее тело, что она молодеет, выпрямляется, становится сильнее. Он не мог прогнать эту иллюзию, и тогда рассудок перетолковал ее на профессиональный лад. «Выговориться ей полезно, и для души, и для тела», — пробормотал он.

Женщина стала рассказывать об одном случае, который произошел через несколько месяцев после свадьбы. Голос ее зазвучал тверже.

— Под вечер я решила прокатиться, — сказала она. — В конюшне Мойра у меня были своя коляска и серый пони. Том красил и оклеивал обоями комнаты в гостинице. Ему нужны были деньги, и я все собиралась с духом сказать ему про те восемьсот долларов, что оставил отец. Никак не могла решиться. Не очень он мне нравился. Лицо и руки вечно в краске — и

пахло-то от него краской. Он все старался привести в порядок старую гостиницу, подновить, сделать понаряднее.

Взволнованная женщина выпрямилась в кресле и, по-девичьи взмахивая рукой, рассказывала о том, как поехала весенним днем кататься:

— Небо было хмурое, гроза собиралась. Под черными тучами трава и деревья стали такими зелеными, что глазам было больно. Я отъехала от Вертлюжной заставы милню или чуть больше и свернула на проселок. Лошадка весело бежала в гору и под гору. Мне было беспокойно. В голову лезли мысли, мне хотелось от них убежать. Я стала нахлестывать лошадку. Черные тучи опустились, пошел дождь. Мне хотелось мчаться с ужасной быстротой, гнать и гнать без остановки. Хотелось удрать из города, из моего платья, от моего замужества, от тела моего, от всего. Я чуть не загнала лошадь, а когда она выбилась из сил, я вылезла из коляски и бежала в темноте, пока не упала и не ушибла бок. Мне хотелось убежать от всего, но и прибежать хотелось к чему-то. Понимаете, что со мной было, миленький?

Элизабет вскочила и заходила по кабинету. И доктору Рифи казалось, что он ни у кого еще не видел такой походки. В движениях всего ее тела была непринужденность, и ритм их опьянял доктора. Когда она подошла и опустилась на колени возле его кресла, он обнял ее и стал горячо целовать.

— Я проплакала всю дорогу до дому, — пыталась она закончить рассказ о своей безумной поездке, но он не слушал ее.

— Милая! Милая, хорошая! Милая моя, хорошая! — шептал он, и ему казалось, что он обнимает не изнуренную женщину сорока одного года, а красивую невинную девушку, каким-то чудом вырвавшуюся из кожи изнуренного женского тела.

Женщину, которую он тогда обнимал, доктор Рифи больше не видел до самой ее смерти. В тот летний день они чуть не стали любовниками в его кабинете, но им помешало пустячное, почти нелепое происшествие. Когда мужчина и женщина крепко обнялись, по лестнице вдруг затопали чьи-то ноги. Пара вскочила и замерла, дрожа и прислушиваясь. А шумел на лестнице приказчик мануфактурной компании «Париж». С грохотом он швырнул пустой ящик на кучу рухляди в коридоре и затопал вниз. Элизабет ушла тут же. То, что оживало в ней, когда она разговаривала со своим единственным другом, разом умерло. Она была почти в истерике, как и доктор, и не хотела продолжать разговор. Элизабет шла по городу, и кровь еще пела в ней, но, когда она свернула на Главную улицу и увидела огни «Нового дома Уилларда», ее затрясло, колени подогнулись, и она испугалась, что упадет.

Последние несколько месяцев больная женщина прожила в нетерпеливом ожидании смерти. И шла дорогой смерти, ее желая, к ней стремясь. Смерть представлялась ей в человеческом облике — то сильным черноволосым парнем, бегающим по холмам, то суровым, спокойным мужчиной, в рубцах и метинах жизненных невзгод. В темной комнате она выпрастывала руку из-под одеяла, протягивала ее и думала, что смерти нравится, когда живое само подает ей руку. «Потерпи, любимый, — шептала она. — Оставайся молодым и красивым и потерпи». В тот вечер, когда болезнь наложила на нее свою тяжелую руку и не оставила ей времени сказать сыну Джорджу про спрятанные восемьсот долларов, она вылезла из постели и ползала по комнате, выпрашивая у смерти хоть часовую отсрочку. «Подожди! Сын! Сын! Сын!» — умоляла она, из последних сил отрывая от себя руки возлюбленного, которого так сильно желала.

* * *

Элизабет умерла в марте того года, когда ее сыну Джорджу исполнилось восемнадцать, и до молодого человека почти не дошел смысл ее смерти. Прояснить этот смысл могло только время. Он уже месяц видел, что мать лежит на кровати, белая, неподвижная и немая, — и вот доктор остановил его в коридоре и произнес несколько слов.

Молодой человек ушел к себе в комнату и закрыл дверь. В животе у него образовалась

странная пустота. Он посидел, глядя в пол, потом вскочил и выбежал на воздух. Он прошел по станционной платформе, потом по центральным улицам, мимо школы, и почти все время думал только о своих делах. Мысль о смерти никак не могла завладеть им, и он даже немного досадовал, что мать умерла именно сегодня. Он только что получил от Элен Уайт, дочери городского банкира, ответ на свою записку. «Сегодня я мог бы с ней встретиться, а теперь придется отложить», — думал он почти сердито.

Элизабет умерла в пятницу, в три часа дня. С утра шел дождь и было холодно, но днем выглянуло солнце. Последние шесть дней она была парализована, не могла ни говорить, ни двигаться, жить продолжали только ум и глаза. Три дня из шести она боролась, думая о сыне, силилась сказать ему на будущее какие-то слова, и в глазах ее была такая трогательная мольба, что у всех, кто это видел, умиравшая осталась в памяти на годы. Даже Том Уилард, который всегда носил в душе обиду на жену, забыл свою обиду, и у него текли слезы, застревая в усах. Усы у Тома седели, он их красил. В состав краски входило масло, и, когда он смахивал слезы с усов, в воздухе повисал тонкий туман. В горе лицо Тома Уиларда напоминало мордочку маленькой собаки, долго пробывшей на морозе.

В день смерти Джордж вернулся домой по Главной улице уже в темноте; он поднялся к себе, причесаться и почиститься, а потом по коридору перешел в комнату, где лежало тело. Горела свеча на туалетном столике возле двери, а у кровати в кресле сидел доктор Рифи. Доктор встал и пошел к выходу. Он сунул вперед руку, как бы желая поздороваться с Джорджем, но тут же неловко ее убрал. Двум смущенным людям было тесно в комнате, и старший быстро вышел.

Сын покойной сел в кресло и потупил взгляд. Он опять задумался о своих делах и твердо решил, что начнет новую жизнь, уедет из Уайнсбурга. «Уеду в большой город. Может быть, удастся поступить в газету», — подумал он, а потом его мысли обратились к девушке, с которой он мог провести этот вечер, и опять он чуть не рассердился на неожиданную помеху.

В плохо освещенной комнате, где лежала покойница, молодой человек предался размышлениям. Он занимал себя мыслями о жизни, так же как мать мыслью о смерти. Он закрыл глаза и вообразил, как прикасаются к его губам яркие молодые губы Элен Уайт. Он задрожал всем телом, руки затряслись. И вдруг что-то произошло. Молодой человек вскочил на ноги и оцепенел. Он посмотрел на мертвое тело под простынями, и ему стало так стыдно за свои мысли, что он заплакал. В голову ему пришла новая идея, и он виновато оглянулся, словно за ним могли подсматривать.

Джорджу Уиларду до умопомрачения захотелось приподнять простыню и заглянуть в лицо матери. Все отступило под страшным натиском новой мысли. Он вдруг уверил себя, что перед ним на кровати лежит не мать, а кто-то другой. Это ощущение было явственным до невыносимости. Длинное тело под простыней выглядело в смерти молодым и стройным. Юноше, обуянному странной фантазией, оно показалось непередаваемо прекрасным. Чувство, что тело там живое, что сейчас с кровати спрыгнет красивая женщина и встанет перед ним, нахлынуло с такой силой, что он больше не мог терпеть. Он снова и снова пытался протянуть руку. Один раз он даже тронул и приподнял край простыни, но смелость покинула его, и он, как доктор Рифи, отвернулся и вышел вон. За дверью, в коридоре он остановился и задрожал так, что ему пришлось держаться за стену. «Это не мама. Не мама там», — прошептал он и опять задрожал от страха и неизвестности. Из соседней комнаты вышла, чтобы посидеть возле покойницы, вдова Элизабет Свифт; Джордж сунул ей руку и зарыдал, качая головой, полуслепой от горя. Но тут же забыл про Элизабет Свифт и со словами «Мама умерла» оборотился к двери, откуда только что вышел. «Милая, милая, милая моя, хорошая», — забормотал он, повинувшись какой-то посторонней силе.

* * *

А восемьсот долларов, которые так долго прятала покойная, чтобы помочь сыну

обосноваться в большом городе, — они лежали в жестяной коробке под штукатуркой, у нее в ногах. Элизабет схоронила их через неделю после свадьбы — отбив штукатурку палкой. Потом, чтобы заштукатурить тайник, позвала одного из рабочих, которые ремонтировали гостиницу. «Кроватью нечаянно двинула», — объяснила она мужу, не в силах расстаться с мечтой об избавлении — избавлении, которое замаячило перед ней лишь дважды в жизни когда ее обнимали возлюбленные, Смерть и доктор Рифи.

ПРОЗРЕНИЕ

Перевод В. Голышева

Был ранний вечер в конце осени, и на Уайнсбургскую ярмарку из округа съехались толпы народа. День выдался ясный, и наступала мягкая, теплая ночь. Над Вертлюжной заставой, где дорога выбегала за город и вытягивалась между ягодных плантаций, устланных бурыми сухими листьями, телеги вздымали тучи пыли. В телегах, свернувшись мячиком, на соломе спали дети. Волосы у них были в пыли, пальцы — черные и липкие. Пыль клубами катилась на поля и горела в лучах заходящего солнца.

На Главной улице Уайнсбурга, в магазинах и на тротуарах, толпился народ. Стемнело, ржали лошади, приказчики метались, как угорелые, дети теряли родителей и вопили, американский городок надсаживал силы, стараясь развлечь себя.

Протолкавшись сквозь толпу на Главной улице, молодой Джордж Уилард укрылся на лестнице, которая вела в кабинет доктора Рифи, и всматривался в толпу. Он провожал воспаленным взглядом лица, проплывавшие в свете витрин. В голову лезли мысли, а думать ему не хотелось. Он нетерпеливо топал по деревянной ступеньке и напряженно озирался. «Да что она — весь день с ним просидит? Зря я, что ли, столько ждал?» — пробормотал он.

Джордж Уилард, парень из маленького городка в Огайо, мужал не по дням, а по часам, и у него зарождались новые мысли. Сегодня с самого утра он чувствовал себя одиноким в ярмарочной сутолоке. Он собирался уехать из Уайнсбурга в большой город, хотел поступить там в газету и ощущал себя взрослым. Настроение у него было такое, какое знакомо мужчинам и незнакомо мальчикам. Он чувствовал себя немолодым и слегка усталым. В нем пробуждались воспоминания. Ему казалось, что ощущение зрелости обособливает его, превращает в отчасти трагическую фигуру. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь понял то чувство, которое завладело им после смерти матери.

В жизни каждого мальчика наступает миг, когда он в первый раз оборачивается к своему прошлому. Может быть, именно тогда он и перешагивает рубеж зрелости. Мальчик бродит по улицам родного городка. Он думает о будущем, о том, какой персоной он явится миру. В нем зарождаются честолубивые замыслы и сожаления. Вдруг что-то происходит; он застывает под деревом и ждет, словно сейчас его окликнут по имени. Тени бывшего пробираются в его сознание, голоса извне шепотом извещают, что жизнь кое в чем ограничена. Только что он был уверен в себе и в будущем — и вот, уверенности как не бывало. Если он — мальчик с воображением, перед ним разверзается дверь, он впервые обозревает жизнь и видит нескончаемое шествие людей, которые прежде него являлись из небытия на свет, отживали свой век и снова в небытии исчезали. Мальчик отведал печали прозрения. Вдруг, задохнувшись, мальчик видит, что он — всего лишь листок, гонимый ветром по улицам города. Он понимает, что зря так храбро рассуждали его товарищи: он должен будет жить и умереть в неопределенности — игрушкой ветра, травинкой, которая увянет под солнцем. Он вздрагивает и жадно озирается. Восемнадцать лет его жизни сжались в короткий миг, в мимолетный вздох в долгом шествии человечества. Слышно уже, как его кличет смерть. Всей душой он ищет близости с другим человеком, хочет коснуться его руками и самому почувствовать его прикосновение. И если этот другой представляется ему женщиной, то потому только, что женщина, наверно, должна быть ласковей, женщина

должна понять. Больше всего ему нужно, чтобы его поняли.

Когда это прозрение пришло к Джорджу Уиларду, он стал думать об Элен Уайт, дочке уайнсбургского банкира. Он и так всегда помнил об этой девушке, которая превращалась в женщину, взрослея вместе с ним. Однажды летним вечером, когда ему было восемнадцать лет, он гулял с Элен по проселочной дороге и под влиянием минуты вдруг расхвастался, начал выставять себя перед ней большим и значительным человеком. Сейчас она была нужна ему для другого. Ему нужно было рассказать ей о своих новых порывах. В тот раз он старался внушить ей, что он мужчина, хотя сам не имел об этом понятия; теперь же он хотел только быть с ней и дать ей почувствовать, какая в нем произошла перемена.

Для Элен Уайт тоже наступила пора перемен. На свой, женский, лад она переживала то же, что молодой Джордж Уилард. Она перестала быть девочкой и жаждала причаститься женской красоте и благодати. По случаю ярмарки она приехала на день из кливлендского колледжа. В ней тоже пробуждались воспоминания. Весь день она просидела на трибуне с молодым человеком, преподавателем ее колледжа, которого пригласила мать. Преподаватель был педант, и она сразу поняла, что он для ее нужд не подойдет. Ей было приятно показаться на ярмарке в его обществе, поскольку он был приезжий и хорошо одет. Она знала, что его появление будет отмечено. Днем она еще веселилась, но, когда стемнело, ей стало невмоготу. Ей захотелось прогнать преподавателя, отделаться от него. Пока они сидели на трибуне и на них смотрели школьные подруги, она оказывала кавалеру такое внимание, что и у него пробудился некоторый интерес. «Ученый нуждается в средствах. Женюсь на женщине со средствами», — рассуждал он.

В то самое время, когда Джордж Уилард уныло слонялся в толпе и думал о ней, Элен Уайт думала о нем. Она вспомнила ту вечернюю прогулку, и ей захотелось снова с ним погулять. Она думала, что, пожив несколько месяцев в большом городе, побывав в театрах, насмотревшись на светлые проспекты, запруженные гуляющими, она разительно переменялась. И она хотела, чтобы он заметил и почувствовал в ней эту перемену.

Тот летний вечер, который запомнился обоим молодым людям, они, если подумать, провели довольно бестолково. Они вышли по дороге за город. Потом остановились у изгороди, за которой было поле молодой кукурузы, Джордж снял пиджак и повесил его на руку.

— Так, я пока остался в Уайнсбурге — остался пока... не уехал, но я взрослею. Я читал, я думал. Попробую чего-нибудь достигнуть в жизни. В общем, не в этом дело, — объяснил он. — Хватит мне, наверно, говорить.

Смущенный молодой человек взял девушку под руку. Голос у него дрожал. Они пошли обратно, к городу. Джордж от отчаяния расхвастался.

— Я буду большим человеком, таких еще в Уайнсбурге не было, — объявил он. — Я от тебя вот чего хочу... ну, не знаю чего. Может, это не мое дело. Хочу, чтобы ты постаралась стать не такой, как все женщины. Ты меня понимаешь. Я говорю, это, конечно, не мое дело. Я хочу, чтобы ты стала прекрасной женщиной. Понимаешь, чего я хочу?

Голос у него прервался; пара молча дошла до города и направилась к дому Элен Уайт. У калитки Джордж захотел сказать что-то внушительное. Он вспомнил все речи, придуманные заранее, но все они были бы совершенно не к месту.

— Я думал — одно время думал... так мне казалось... что ты выйдешь за Сета Ричмонда. Теперь-то я знаю, что нет, — только и сумел он сказать, пока они шли от калитки до двери ее дома.

Теплым осенним вечером, наблюдая с лестницы за толпой, затопившей Главную улицу, Джордж вспомнил тот разговор у кукурузного поля, и ему стало стыдно, что он выставился перед ней в таком виде. На улице люди валили то туда, то сюда, как скот, стесненный в загоне. Повозки и телеги запрудили узкую мостовую. Играл оркестр, мальчишки носились по тротуару и ныряли между ногами у мужчин. Молодые люди с лоснящимися красными лицами неуклюже шествовали под руку с девушками. Над одним из магазинов, в зале, где должны были состояться танцы, скрипачи настраивали свои инструменты. Клочковатые

звуки вылетали из открытых окон и неслись над гомоном толпы и мычанием оркестровой меди. Эта мешанина звуков действовала Джорджу на нервы. Неумная, роевая жизнь лезла на него отовсюду, со всех сторон. Хотелось убежать, побыть одному, подумать. «Если ей нравится сидеть с этим малым пусть себе сидит. Мое какое дело. Не все ли мне равно?» — ворчал он, уходя по Главной улице и через бакалею Херна — в переулок.

Джордж был так удручен и чувствовал себя таким одиноким, что хотелось плакать, и только гордость заставляла его шагать быстро и размахивать руками. Он дошел до конюшни Уэсли Мойра и остановился в тени, послушать, что говорят мужчины о сегодняшних ярмарочных бегах, которые выиграл Тони Тип, жеребец Мойра. У конюшни собралась целая толпа, а перед толпой важно расхаживал Уэсли и хвастался. Он расхаживал с кнутом и щелкал им по земле. Фонарь освещал взлетающие облачка пыли. «Да бросьте ерунду молоть! — восклицал Уэсли. — Чего я боялся — я же знал, что обставлю их. Ничего я не боялся».

В другое время Джордж Уилард жадно слушал бы похвальбу коневода Мойра. Теперь она его злила. Он повернулся и стремительно пошел прочь. «Старая балаболка, — фыркал он. — И чего пыжится? Чего болтает?»

Джордж зашел на пустырь и второпях упал в кучу хлама. Гвоздь, торчавший из пустой бочки, разорвал ему брюки. Он сел на землю и выругался. Потом заколол рваное место булавкой, поднялся и пошел дальше. «Пойду-ка я к Элен Уайт, вот что. Возьму и войду. Скажу, мне надо ее видеть. Войду и усядусь — и все тут», — сказал он, перелез через забор и кинулся бегом.

Элен Уайт сидела у себя на веранде, на душе у нее было смутно. Преподаватель сидел между матерью и дочерью. Речи его девушке надоели. Родом он тоже был из маленького городка в Огайо, но напускал на себя столичный вид. Представлялся таким гражданином мира.

— Я доволен, что получил возможность ознакомиться с той средой, из которой вышло большинство наших студенток, — толковал он. — Очень любезно с вашей стороны, миссис Уайт, что вы пригласили меня на день в ваши края. Он повернулся к Элен и засмеялся. — А вас еще что-нибудь связывает с жизнью этого города? Есть тут люди, которые вам интересны?

Девушке его голос казался напыщенным и нудным. Она встала и ушла в дом. Перед черной дверью, выходящей в сад, она остановилась и прислушалась. Заговорила мать.

— Для девушки, получившей такое воспитание, как Элен, тут совершенно нет подходящего общества, — сказала она.

Элен сбегала по ступенькам в сад. В темноте она, дрожа, остановилась. Ей казалось, что весь мир заполнили бессмысленные люди — и говорят без умолку. Вне себя от нетерпения она выбежала за садовую калитку, обогнула конюшню банкира и очутилась в переулке. «Джордж! Где ты, Джордж!» возбужденно выкрикнула она. Она перестала бежать, привалилась к дереву и надрывно захохотала. По темному переулку, говоря без умолку, приближался Джордж Уилард. «Прямо в дом к ней войду. Войду и усядусь», — грозил он, пока не подошел к Элен. Тут он остановился и ошарашенно посмотрел на нее. Он сказал: «Пошли», — и взял ее за руку. Понурясь, они брели по улице, под деревьями. Под ногами шуршали сухие листья. Теперь, когда она нашлась, Джордж не очень хорошо понимал, что ему говорить и делать.

У верхнего края Ярмарочной площади в Уайнсбурге есть обветшалая трибуна. Ее ни разу не красили, и все доски покособило. Ярмарочная площадь лежит на вершине низкого холма в долине Винной речки, и ночью с трибуны видно за полем зарево городских огней.

Тропинкой мимо Водозаборного пруда Джордж и Элен поднялись на Ярмарочную площадь. Чувство одиночества и отчуждения, которое владело молодым человеком в городской толпе, отпустило его и обострилось, когда он оказался наедине с Элен. То, что чувствовал он, в ней отражалось.

В юности человека всегда раздражают две силы. Теплый бездумный зверек в нем борется с тем, кто размышляет и вспоминает, и в Джордже верх сейчас взял старший,

умудренный. Элен почувствовала, что с ним творится, и шла рядом, уважая его. Добравшись до трибуны, они поднялись на самый верх, под навес, и сели на длинную скамью.

Если вам случалось в ночь после ежегодной ярмарки посетить базарную площадь маленького городка на Среднем Западе, это останется у вас в памяти. Такого переживания не забыть. Тебя обступят призраки — но живых, а не мертвых. Сюда минувшим днем нахлынул народ из города и окрестностей. Фермеры с женами и детьми и все обитатели сотен городских деревянных домишек теснились на этой площади, обнесенной глухим забором. Смеялись девушки, толковали о житейских делах бородачи. Жизнь хлестала через край. Все свербело и ерзало от переизбытка жизни — и вот ночь, и жизнь ушла. Тишина почти устрашает. Прячешься за стволом дерева, стоишь молча, и, сколько есть у тебя способности к размышлению, — все идет в ход. Содрогаешься, думая о бессмысленности жизни, и в то же время, если здешний народ — это твой народ, любишь жизнь так, что слезы на глазах выступают.

В темноте под навесом трибуны, сидя с Элен Уайт, Джордж Уилард остро почувствовал свою незначительность в общей смете бытия. В городе его раздражала возня людей, занятых разнообразными делами, но теперь, вдали от них, раздражение прошло. Рядом с Элен он отдохнул, приободрился. Как будто женская рука помогла ему настроить механизм его жизни. О людях города, где он прожил всю жизнь, он уже думал чуть ли не с благоговением. И благоговел перед девушкой. Ему хотелось любить ее и быть любимым, но не хотелось, чтобы сейчас его отвлекла ее женственность. В темноте он взял ее за руку и, когда она придвинулась, обнял за плечи. Подул ветер, он поежился. Он изо всех сил старался сохранить и понять свое настроение. Наверху, в темноте две необыкновенно чувствительные человеческие песчинки прильнули друг к дружке и ждали. У обоих на уме было одно и то же. «Я пришел в это безлюдное место, и со мной рядом — другой человек» — вот суть того, что они чувствовали.

В Уайнсбурге день толчеи иссяк, сменился долгой осенней ночью. Рабочие лошади трусили по пустынным проселкам, каждая со своим грузом усталых людей. Приказчики убирали с уличных лотков товар и запирали магазины. В театре толпа ожидала представления, а дальше по Главной улице, настроив наконец свои инструменты, скрипачи в поту поддавали музыки летавшим по полу молодым ногам.

В темноте на трибуне молча сидели Джордж Уилард и Элен Уайт. Иногда очарование с них спадало, они поворачивались и в потемках пробовали заглянуть друг другу в глаза. Они целовались, но эти порывы были недолгими. В верхнем конце Ярмарочной площади человек пять мужчин возились с лошадьми, которые днем участвовали в бегах. Они развели костер и грели в котлах воду. Огонь освещал только ноги, проходившие вблизи костра. Когда задувал ветер, языки пламени трепались в воздухе.

Джордж и Элен встали и побрели в темноту. Они шли тропинкой мимо несжатого поля кукурузы. Ветер шелестел в ее длинных жухлых листьях. Пока они шли к городу, очарование с них ненадолго спало. На гребне Водозаборного холма они остановились под деревом, и Джордж снова взял девушку за плечи. Она жадно обняла его, но опять они быстро погасили свой порыв. Они перестали целоваться и отстранились друг от друга. Взаимное уважение взяло в них верх. Оба были смущены и от смущения затеяли бессмысленную отроческую возню. Они смеялись, дергали и теребили друг друга. Переживание сегодняшнего вечера как-то очистило их, сделало целомудренней, и они уже были не мужчиной и женщиной, не мальчиком и девушкой, а расшалившимися зверьками.

В таком настроении они спускались с холма. Они резвились в темноте как два великолепных молодых животных в молодом еще мире. Один раз, убежав вперед, Элен подставила ему ножку, и он упал. Он стал вопить и корчиться. Задышавшись от хохота, он кубарем покатился по склону. Элен побежала за ним. На миг она замерла в темноте. Кто скажет, какие женские мысли промелькнули у нее в голове, — но у подошвы холма, нагнав Джорджа, она взяла его под руку и пошла с ним рядом в чинном молчании. Каким-то образом — они сами не сумели бы объяснить каким — они получили от этого безмолвного

вечера вдвоем то, в чем нуждались. Мужчина ли, мальчик ли, женщина или девочка — сейчас они прикоснулись к тому, что позволяет взрослым людям переносить жизнь в современном мире.

ОТЪЕЗД

Перевод В. Голышева

Молодой Джордж Уилард встал в четыре часа утра. Был апрель, только-только распускались почки. Деревья на центральных улицах Уайнсбурга — это клены, семена у них крылатые. Когда поднимается ветер, они тучами кружатся в воздухе, а после устилают мостовую ковром.

Джордж спустился в контору гостиницы с коричневым кожаным чемоданом. Сундук его был уложен к отъезду. С двух часов он не спал, думал о предстоящей поездке, о том, что она ему сулит. В конторе, на койке у двери спал мальчик. Рот у него был открыт, и он сладко храпел. Джордж пробрался мимо койки и вышел на безлюдную сонную Главную улицу. Заря уже занималась, и свет длинными струями бил в небо, где еще горели редкие звезды.

За последним домом на Вертлюжной заставе Уайнсбурга раскинулись поля. Поля принадлежат фермерам, которые живут в городе, и вечерами в легких скрипучих повозках они едут через Вертлюжную заставу домой. На полях выращивают ягоды и мелкие фрукты. Жарким летом на исходе дня поля и дорога покрыты пылью, и дымка стелется в громадной мелкой чаше земли. Смотреть на нее — все равно что смотреть на море. Весной, когда поля зеленые, вид тут немного другой. Земля похожа на зеленый бильярдный стол, и там и сям трудятся на нем букашки-люди.

С детства и до поздней юности Джордж любил ходить за Вертлюжную заставу. Бывал он на этой равнине зимними ночами, когда земля лежит в снегу и только месяц глядит на нее, бывал и осенью, когда уныло дует ветер, и летними вечерами, когда воздух дрожит от пения насекомых. Сегодня, апрельским утром, ему опять захотелось туда — пройти в тишине. Он ушел за две мили от города, к тому месту, где дорога сбегает к ручью; оттуда молча повернул назад. Когда он пришел на Главную улицу, приказчики уже подметали тротуар перед магазинами. «Эй, Джордж! Каково тебе уезжать-то?» спрашивали они.

Поезд на Запад отходит от станции в семь сорок пять. Кондуктор на нем — Том Литл. Этот поезд идет от Кливленда до станции, где железная дорога соединяется с магистралью Чикаго — Нью-Йорк. У Тома, как говорят на железной дороге, легкий маршрут. Каждый вечер он возвращается к семье. Весной и осенью он все воскресенья удит рыбу на озере Эри. У него круглое красное лицо и маленькие голубые глазки. Людей в городках по своему маршруту он знает лучше, чем житель большого города знает своих соседей по дому.

Джордж сошел по короткому спуску от гостиницы к станции в семь часов. Чемодан его нес Том Уилард. Сын уже перерос отца.

На платформе все пожимали молодому человеку руку. Там собралось больше десятка людей. Скоро разговор у них перешел на свои дела. Даже ленивый Уилл Хендерсон, который нередко спал до девяти часов, и тот сегодня встал рано. Джордж смущался. На платформу пришла Гертруда Уилмот, высокая, худая пятидесятилетняя женщина, работавшая на почте. До сих пор она не обращала на Джорджа никакого внимания. Теперь она подошла к нему и подала руку. В двух словах она выразила общее чувство. «Желаю удачи», — отрывисто сказала она и, повернувшись, ушла.

Наконец подъехал поезд, и Джордж почувствовал облегчение. Он поспешно влез в вагон. По Главной улице бежала Элен Уайт, надеясь, что успеет с ним попрощаться, но он уже нашел место и не увидел ее. Поезд тронулся. Том Литл пробил его билет и улыбнулся; кондуктор хорошо знал Джорджа, знал, на какое он решился предприятие, но ничего не сказал. На памяти Тома тысячи молодых уилардов уезжали из своих городков в большой

город. Для него это был случай вполне обыкновенный. Только что один пассажир в вагоне для курящих позвал Тома половить рыбу в заливе Сандаски. Том решил принять приглашение и договориться подробнее.

Джордж окинул взглядом вагон — не наблюдают ли за ним, — потом достал бумажник и пересчитал деньги. Он очень боялся показаться желторотым. Чуть ли не последнее напутствие отца касалось того, как надо вести себя в большом городе. «Держи ухо востро, — сказал Том Уилард. — За кошельком присматривай. Рот не разевай. Вот тебе мой наказ. Пусть не думают, что ты желторотый».

Пересчитав деньги, Джордж поглядел в окно и удивился, что поезд еще не выехал из Уайнсбурга.

Отправляясь из своего городка в большую жизнь, он задумался, но задумался не о чем-то значительном и драматическом. Смерть матери, расставание с Уайнсбургом, мысли о том, что станет с ним в большом городе, важные стороны жизни — все это его сейчас не занимало.

Он думал о мелочах: о том, как утром Турок Смолет катит тачку с досками по Главной улице, о высокой женщине в красивом платье, которая ночевала однажды в отцовской гостинице, о том, как уайнсбургский фонарщик Батч Уилер летним вечером спешит по улице с факелом в руке, как Элен Уайт стоит перед окошком городской почты и наклеивает на конверт марку.

Мечтательность, все сильнее проявлявшаяся в характере молодого человека, овладела им и теперь. При взгляде на него трудно было поверить, что он держит ухо востро. Погрузившись в воспоминания о мелочах, он откинулся на спинку и закрыл глаза. Так просидел он долго, а когда очнулся и снова выглянул в окно вагона, городок Уайнсбург уже пропал, и тамошняя его жизнь осталась лишь фоном, на котором он расположит мечты взрослых лет.